

Александр Валентинович Амфитеатров

**Марья Лусьева**



Дом свиданий

Александр Амфитеатров

**Марья Лусьева**

«Public Domain»

1903

## **Амфитеатров А. В.**

Марья Лусьева / А. В. Амфитеатров — «Public Domain»,  
1903 — (Дом свиданий)

«Дело было в последних девяностых годах прошлого века. В один из к-ских полицейских участков явилась — „ворвалась, как буря“, говорил мне свидетель-очевидец — нарядно одетая молодая девушка, очень красивая и вполне приличного типа, но взволнованная, с одичалыми глазами, с щеками, пылавшими огнем.— Кто здесь главный? — резко крикнула она.— Пристава нет сейчас. Я за него, его помощник. Что вам угодно? Девушка продолжала так же резко и порывисто:— Меня зовут Марья Ивановна Лусьева. Я из Петербурга, приехала неделю тому назад. Я тайная проститутка и доношу вам на себя, чтобы вы дали мне желтый билет. Вот вам мой паспорт...»

## Содержание

От автора	5
Часть первая	7
I	7
II	11
III	14
IV	16
V	18
VI	20
VII	22
VIII	24
IX	27
X	31
XI	33
XII	36
XIII	40
XIV	43
XV	44
XVI	46
XVII	48
XVIII	49
XIX	51
XX	54
XXI	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# Александр Амфитеатров

## Марья Лусьева

### От автора

В настоящем издании «Марья Лусьева» выходит значительно дополненной, – почти вдвое обширнее – прежних. В роман введен ряд эпизодов и сцен, ранее не включавшихся по соображениям цензурным или персональным. Так, для читателей, знакомых с прежними изданиями «Марьи Лусьевой», будут новые главы и эпизоды: «Люция», «Подвальные барышни», «Женя Мюнхенова» и история ее портрета, «Живорыбный Садок» москвича Бастахова, «Похититель невест», «Ассоциация Феникс» и др.

Такое расширение «Марьи Лусьевой» усугубляет ее недостаток, не раз ставившийся мне в упрек: что по форме романа, ведомого рассказом от первого лица, я грешу против художественной истины, заставляя героиню в два-три часа, максимально которые могли бы посвятить ей ее слушатели, сообщить столько и так подробно, что хватило бы слушать на неделю. Это правда, – приемлю упрек. Но я и раньше заявлял неоднократно, и теперь повторяю, что в «Марье Лусьевой» я преследую цели отнюдь не художественной архитектуры, но публицистической иллюстрации одного из наиболее опасных зол современного «культурного общества»: торговли «живым товаром».

Зло это, к великому горю и гибели человечества, не изменяется ходом истории. Сколько наивных надежд возлагалось на социальную революцию! Пришла она, но, если что переменяла в проституционном недуге, то не на лучше, а на в десять раз хуже! Первоначальный очерк «Марьи Лусьевой» был написан 25 лет тому назад. Однако, работая над романом для настоящего издания, я то и дело убеждался в печально прочной зеркальности моих фактов не только для распоясавшейся «подсоветчины», но и вообще для быта больших послевоенных и послереволюционных городов, как рисуют ее их собственная газетная хроника и бытовая литература.

Поэтому я ничуть не смущаюсь удлинением цепи сообщаемых эпизодов. Думаю, что не посетует на то и читатель, получающий новый материал к осведомлению и обсуждению, в форме, надеюсь, легко воспринимаемой.

Вообще же, позволю себе повторить то, что заявил при первом издании «Марьи Лусьевой», напоминая, вместе с тем, историю ее происхождения.

«Марья Лусьева» как повесть, вымысел, но в «Марье Лусьевой» нет ни одного, хотя бы самого мелкого, эпизода, который был бы вымышлен. Мысль написать «Марью Лусьеву» дал мне чиновник, изображенный в моем рассказе под именем Mathieu le beau. Он, развивая передо мною в приятельском разговоре свои служебные воспоминания, сообщил мне, между прочим, случай с интеллигентною барышнею в одном из южных наших центров: она, сойдя с ума, воображала себя проституткою и наделала немало хлопот своему семейству и городской администрации, прежде чем удалось изобличить ее в эротическом бреде. Что факт этот возможен и даже не может назваться единичным, подтвердили мне ростовские газеты, огласившие в зиму 1902 года случай однородного помешательства, но с еще более странным осложнением навязчивой идеи, так как воображал себя женщиною легкого поведения солидный мужчина. Перед некрасовскими праздниками, в декабре 1902 года, по газетам опять прошел рассказ о помешанной девице, которая с надгробным венком в руках пришла в полицейский участок читать «Убогую и нарядную».

Сперва я хотел было сделать из «Марьи Лусьевой» просто психологический этюд, с сильным анализом перечисленных случаев сумасшествия. Но потом, взявшись за работу,

я соблазнился расширить тему и направить ее к целям более общественного характера, чем описание сумерек в двух-трех повредившихся умах... Я решил попробовать – сколько могу и знаю – осветить лазейки зла и, отказавшись от мысли писать «Марью Лусьеву» сумасшедшею, сделал из нее одну из невольниц «дома свиданий», которая, взбунтовавшись, была выдана и принята за сумасшедшую.

Так возникла эта «былевая небылица», которую характеризовать я считаю себя вправе словами Сухова-Кобылина в его послесловии к трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Веселые Расплюевские дни»: «Если бы, за всем этим, мне предложен был вопрос: где же я так-таки такие картины видел?... то я должен сказать, положила руку на сердце: – Нигде... и – везде...»

За 25 лет своего существования «Марья Лусьева» была судима и благосклонно, и злобно, имела своих друзей и своих врагов. Одни, может быть, слишком лично ставили автору в высокую заслугу прямизну и углубленность обличения без «лживства, лукавства, вежливства», со всеми точками над *i*. Другие довольно идиотски приписывали ему... «лукавое намерение развратить „Марьей Лусьевою“ женщин и детей»!.. Сам же автор ценит в «Марье Лусьевой» то достоинство, как главное, что за 25-летнюю свою службу она ни разу не была опровергнута хотя бы в малой какой своей подробности, доказательно и авторитетно.

В прежних изданиях роман сопровождался рядом статей по вопросу борьбы с проституцией. В большей части своего содержания они устарели, а потому из настоящего издания исключены. Меньшую же часть, фактическую, я перенес, – в пояснение и подтверждение некоторых эпизодов, – в подстрочные примечания. Подстрочными же примечаниями обозначены теперь справки по авторам, сочинениями которых «Марья Лусьева» проверена в бытовой своей части. Список этих сочинений приложен в конце романа.

*Александр Амфитеатров*  
*Levanto 1927 VII 17*

## Часть первая Генеральша

### I

Дело было в последних девяностых годах прошлого века.

В один из к-ских полицейских участков явилась – «ворвалась, как буря», говорил мне свидетель-очевидец – нарядно одетая молодая девушка, очень красивая и вполне приличного типа, но взволнованная, с одичалыми глазами, с щеками, пылавшими огнем.

– Кто здесь главный? – резко крикнула она.

– Пристава нет сейчас. Я за него, его помощник. Что вам угодно?

Девушка продолжала так же резко и порывисто:

– Меня зовут Марья Ивановна Лусьева. Я из Петербурга, приехала неделю тому назад. Я тайная проститутка и доношу вам на себя, чтобы вы дали мне желтый билет. Вот вам мой паспорт.

Драматический порыв Лусьевой, возбужденный тон ее речи, слишком заметная интеллигентность, общая пристойность всего ее, как говорят немцы, «явления», совсем несогласные с ее показанием, смутили полицейского.

«Дело неспроста», – подумал он и спросил, избегая местоимений:

– Из каких?

– Я же дала вам паспорт, – грубо рванула Лусьева. – Там все прописано.

Подозрения помощника пристава, что дело не просто, увеличились, когда в паспортной книжке он нашел обозначение – «дочь надворного советника», «дворянка», а в графе документов, на основании которых выдан вид, ссылку на аттестат одной из лучших петербургских гимназий.

– Гм... – сказал он. – У вас прекраснейший документ. Как же вы это так? А?

Лусьева молчала, с нервной злобой терзая перчатку на руке. Посмотрел на нее помощник пристава, – не в себе девка.

«Тут что-то мне не по чину разбирать, – решил он про себя; – чем мне самому влетать в эту кашу, пусть расхлебывает ее старшее начальство».

И телефонировал полицеймейстеру, что, мол, так и так, – пришла барышня благородного звания и отменной наружности, взводит на себя вины несоответственные и заявляет требования несвойственные, очень расстроена и даже как будто не в своем уме; ввиду сомнительности случая, как прикажете поступить?

Вышла резолюция: «Отправить предполагаемую больную в приемный покой и вызвать к ней врача, а там видно будет». Лусьева, с истерическим упрямством, продолжала кричать, чтобы ей отдали позорное свидетельство.

– Успеете, успеете, – с досадою сказал ей помощник пристава. – С этою радостью, мадемуазель, расстаться трудно, а заполучить ее – минутное дело.

Врач – глупый, старый, равнодушный формалист, давно уже переставший интересоваться судьбами человечества, поскольку они выходят за границы винта и монополюшки с груздем в сметане, – не нашел в Лусьевой ничего аномального.

– Женский пол – как женский пол. Не понимаю, с чего вы сполошились. Что в гимназии учились, так все и рты поразинули, аномалий заставляют искать. Просто развратная девчонка, – вот вам и вся аномалия.

И, в конце концов, Лусьева получила бы роковой документ, если бы не повезло ей, случаем, горемычное счастье.

Дав резолюцию о врачебном исследовании странной девицы, полицеймейстер отправился прямо от телефона к себе в столовую завтракать и, за рюмкою водки, рассказал:

– Представьте, какое у нас сейчас в первом участке оригинальное романтическое приключение.

И так далее, и так далее.

– А как фамилия? – спросил его гость, молодой чиновник особых поручений при к-ском губернаторе.

– Какая-то Лусьева... Марья Ивановна...

Молодой человек даже покраснел от изумления.

– Марья Ивановна Лусьева? Да это чепуха какая-то! Не может быть. Я Марью Ивановну Лусьеву прекрасно знаю. Это проезжая барышня остановилась в гостинице «Феникс», я только вчера был у нее с визитом. Тут – либо самозванство и присвоение чужих документов, либо страшное недоразумение и несчастье. Это надо расследовать. Поедемте-ка, Тигрий Львович.

По дороге чиновник рассказал полицеймейстеру, что познакомился с Лусьевой случайно, на музыке в городском саду. Она была с теткою, в высшей степени приличною особою, которую рекомендовала как баронессу Ландио. Вчера, сделав прежним дамам визит в «Феникс», он убедился, что тетка и племянница – женщины с состоянием: они занимают хороший номер, везут с собою в Крым собственную прислугу – тоже весьма благопристойную русскую тетушку, что-то среднее между горничною и экономкою. На что-либо сомнительное, подозрительное, нечистое не было даже и намека.

– Ну, стало быть, сумасшедшая, – решил полицеймейстер. – А знаете ли, – мы едем мимо «Феникса»: не завернуть ли к тетке-то? Быть может, она и не подозревает, что ее племянushка откалывает с безумных глаз. Предупредим. Все-таки, баронесса...

В «Фениксе» на вопрос столь официальных гостей о баронессе Ландио управляющий смутился и вместо ответа пренелепо сразу же заявил:

– Я, ваше высокоблагородие, ни в чем не виноват. Документ у нее был в порядке.

– Никто тебя ни в чем не обвиняет, – возразил изумленный полицеймейстер. – А разве что-нибудь случилось?

– У нас ничего особенного не случилось, – сказал управляющий, – но только вот – наш паспортист пришел сейчас из участка и говорит, будто бароншину барышню взяли в полицию и хотят записать в публичные.

– Пустяки. Проводи нас к баронессе. Управляющий всплеснул руками.

– Да нету ее уже у нас, ваше высокоблагородие. Уехала с утренним поездом на Одессу. И прислуга ихняя с ними. До ужастей как спешили, в двадцать минут собрались...

Полицеймейстер с чиновником особых поручений переглянулись: дело, действительно, начало становиться романтическим. Из дальнейших расспросов выяснилось, что баронесса с племянницею выехали вчера вечером из гостиницы, часов около восьми, в какой-то театр. Баронесса возвратилась в послеспектакльное время, между часом и двумя ночи, одна. Барышня Лусьева приехала уже утром, часов в шесть, или даже позже; вскоре после того у них в номере началась ссора, раздалась нестерпимые визг, крик и брань, так что пришлось постучать к ним в дверь, прося вести себя тише и не мешать соседям. Громче всех раздавался голос женщины, которая служила при баронессе.

– Такие словечки загинала, что слушать, – на базаре фонари лопнут.

Наконец барышня Лусьева выбежала из номера в страшном расстройстве, с сердитым и презрительным лицом прошла мимо швейцара и исчезла на улице. А баронесса вскоре позвонила и приказала подать счет. Она отлично расплатилась и щедро дала на чай. Но ужасно изумилась и испугалась, когда вместо трех паспортов ей принесли из конторы только два.



– А где же вид Марьи Ивановны? – воскликнула она, искривя лицо.

Лакей, который подавал счет, объяснил, что по требованию барышни, еще третьего дня контора возвратила ей паспорт на руки.

– Но... но... как же это вы так могли поступить... разве это можно?... Вы ужасно что для меня теперь сделали... Вы не имели права...

Баронессе объяснили, что, напротив, гостиница не имела никакого права задержать паспорт, когда его требовала законная владелица. Во время этого объяснения прислуга баронессы молчала, но смотрела на госпожу свою аспидом и, видимо, была не в духе. Затем они обе уехали в дилижансе гостиницы, и, – говорит кучер дилижанса, – всю дорогу до вокзала между двумя женщинами в карете шла ругань не на живот, а на смерть, причем баронесса как будто плакала и в чем-то оправдывалась, а прислуга твердила:

– погоди, погоди! дай в купу сесть: я тебе щеки нарумяню!

Все эти необычайности, в связи с исчезновением Лусьевой и последующими странными о ней слухами, смутили управляющего «Фениксом» – он встревожился:

– Не гостили ли у нас торговки живым товаром?

Удивляло его еще одно обстоятельство: он решительно не помнил, чтобы возвращал паспорт барышне Лусьевой, а между тем паспорт очутился у нее в руках, и молодой коридорный, служивший при номере, клялся и божился управляющему, что тот собственными руками выдал ему документ для передачи.

– Оно, конечно, знаете-с, возможно: съезд публики сейчас очень большой, толчея, ум за разум заходит...

Во всяком случае, он по собственному почину собирался уже пойти в полицию – заявить подозрение о странных гостях, да вот – на счастье, заехал сам полицеймейстер с его высокоблагородием. Раньше, в течение семи дней, что дамы стояли в «Фениксе», никаких скандалов между ними не происходило, жили они тихо, гости их посещали редко, а если бывали, то очень порядочные.

– Вот и их высокоблагородие однажды заезжали.

Марью Ивановну Лусьеву полицеймейстер и чиновник застали в страшном возбуждении. Сухое ли, небрежное обращение врача подбавило масла в огонь, просто ли истерический припадок разрастался, но теперь несчастная девушка действительно производила впечатление недалеко от безумия. Настойчивое требование «билета» не сходило у нее с языка.

– Вот, – закричала она, едва увидела чиновника особых поручений (окрещу его, наконец, Матвеем Ильичом, прибавив, для краткой характеристики, что губернские львицы прозвали его «Mathieu le beau»<sup>1</sup>, а губернатор, старик веселый и насмешливый, предпочитал для него кличку – «Мотька, где водка?»), – вот и этот господин может вам подтвердить, что я такая... Что, брат, узнал? Вот и расскажи всем, как я привязалась к тебе на музыке!

– Опомнитесь, Марья Ивановна! – возопил сконфуженный чиновник, – что с вами? Никогда не было ничего подобного... Ваша почтенная тетушка...

Лусьева громко и нагло захохотала:

– Тетушка? Это баронесса-то? Целуйся с нею.

– Так она не тетка? – встревожился полицеймейстер.

– Может быть, кому-нибудь и тетка.

– А с вами – в каком же родстве?

– Десять дней тому назад я еще и в глаза ее не видала, не знала, что такая есть на свете – ба-ро-нес-са Ланди-о... – со злобною иронией протянула Марья Лусьева.

– Следовательно, она – подложная личность?

---

<sup>1</sup> Матье прекрасный (*фр.*).

– Нет, паспорт у нее настоящий. Кажется, в самом деле баронесса. Что вы думаете? Мало на Сенной в ночлежках живет голодного народа с хорошими паспортами? Заплатите деньги: не то что баронессу, – графиню, княгиню можно выудить... Наемная дуэнья, – при мне в тетках состоять была взята. Для языков и для аристократичности. И дешевая: дневной расход, хорошее платье, проезд по первому классу за три рубля в сутки. Правда, умеренно? Потому что, знаете, она хоть представительная, но пьет уж очень и, пьяная, никакой воли в себе не имеет, всю ее хоть разними...

– Позвольте. Дешево ли, дорого ли, но чей же это расход? Кто платил? Вы платили?

Лусьева злобно засмеялась.

– Я? Да у меня уже с полгода лишнего рубля в кармане не было. «Антрепренерша» моя платила, «мадам, Анна Тихоновна», – вот, которая в гостинице за прислугу при нас числилась...

– Так, – протяжно сказал полицеймейстер, – ну, теперь все понятно. Дело бывалое. Рассказывайте.

– Позвольте, однако, – вмешался Mathieu le beau. – Если даже правда все, что вы о себе говорите, я не понимаю цели. Против вас не имелось никаких подозрений, на вас не поступало доносов... Вы могли спокойно продолжать ваше... гм... существование... – поперхнулся он. – И между тем сами доносите на себя. Понимаете ли вы, какую ужасную будущность себе готовите? Ведь этот билет, о котором вы просите, просто черт знает что... И зачем?

– Затем, – с жестоким гневом прервала его Лусьева, – что меня так испоганили, что, кроме как продаваться, я уже ни на что не гожусь. Но если продажною быть, так уж пусть хоть в чистую – сама собою торгую, а не набиваю карман подлых тварей разных, словно раба какая-нибудь...

Полицеймейстер присвистнул.

– Это у нас называется: «Наказал мужик бабу: в солдаты пошел». Рассказывайте.

## II

Марья Ивановна Лусьева оказалась дочерью бедного петербургского чиновника, которому даровая квартира в казенном доме помогла дать детям приличное образование. Их у старого Лусьева было много, но ко времени, как ему овдоветь, средние дети попримерли, и остались только два мальчика, погодки шести-семи лет, да старшая дочь, уже четырнадцатилетняя гимназистка, Маша. Училась Лусьева отлично. Характера она была веселого, хохотушка, любила танцевать, бегала по театрам, садам, на музыку, но, благодаря хорошим способностям, не отставала от подруг в успехах. Курс кончила отлично. Годов с шестнадцати ознакомились с флиртом и имела огромный успех у мужчин. Нравиться ей никто не нравился особенно, но чтобы ухаживали за нею, она любила очень.

– Ах, Маша! – говорили ей подруги, – какая ты счастливая: даст же Бог такую красоту. Если бы ты еще одевалась как следует, всем мужчинами с ума надо сойти.

– То-то и есть, что Бог разделит по справедливости, – отсмеивалась Маша, – кому красоту, кому туалеты.

Однакорядиться хотелось. Хотелось тоже хороших духов, хотя бы дешевеньких украшений, прошивок, кружев, убрать иной раз голову модною прическою у хорошего парикмахера. Но – денег нет, а на нет и суда нет.

– Счастливица! – вздыхали хорошо одетые подруги, завидуя Машиной красоте.

– Счастливицы! – вздыхала Маша, завидуя хорошо одетым подругам.

В числе Машиных приятельниц была некая Ольга Брусакова, жительница того же казенного двора, девица лет уже двадцати двух, грузной, аляповатой красоты и пухлого, поношенного вида. Дурного об Ольге сказать было нечего. Правда, довольно часто она не ночевала дома и даже иногда исчезала из родительской квартиры на целые недели, но всем в доме известно было, что время отлучек своих девица Брусакова проводит у своей крестной матери, госпожи Рю-линой, – по слухам, важной и богатой барыни, которая ее безумно любит дарить, балует и записала на ее имя крупный куш в своем завещании.

Находили немножко странным, что об этой великолепной крестной матери у Брусаковых в семье ничего не было слышно до семнадцатилетнего возраста Ольги. В ту пору у девушки завязался весьма неудачный роман. Герой его выдавал себя за графа \*\*\*. В действительности же, – как шушукались подвальные кумушки, – проходимец оказался лакеем графа, выгнанным за пьянство и покражу барского платья и белья. Тогда-то вот и выдвинулась в жизни Ольги величественная фигура знатной и богатой крестной мамы. Генеральша Рюлина отобрала Ольгу у родителей и продержала у себя больше года. Добрые языки говорили: чтобы разбить неудачное любовное увлечение девушки и дать ей опомниться от драмы тяжкого разочарования. Злые языки утверждали, – чтобы скрыть беременность и роды.

И то могло быть, потому что Ольга возвратилась от Рюлиной к домашним пенатам сильно изменившись. И физически: приобрела вид скорее молодой дамы, чем девицы. И морально: из резвой и веселой хохотушки превратилась в мрачную лежебоку, страстную курительницу дорогих благовонных папирос и усердную поглотительницу душистых ликеров. Рюлина ее очень избаловала. Так как покровительство этой барыни вносило благосостояние в дом, то Ольга сделалась в своей семье главным лицом. Жила, как хотела. Отец (горький пьяница) и мать (азартная игрица по клубам) ходили пред дочкой на цыпочках и – что она, как она, где она, с кем она – не дерзали допытываться. Было однажды навсегда решено, что, раз Рюлина взяла Ольгу на свое попечение, значит, на Рюлиной и ответственность за Ольгу, а у родных папаши с мамашей руки от дочки развязаны и совесть чиста.

Госпожа Рюлина никогда не навещала свою любимицу у ее родителей, но два раза в неделю непременно, а то и чаще, присылала за Ольгою свою карету. И Ольга спешно отрыва-

лась от дела ли, от веселья ли и уносились с казенного двора на паре чудеснейших караковых, на мягких американских шинах.

– Счастливица! – вздыхало вслед ей все молодое женское население огромного корпуса.

Ольга была добрая девушка. За вялость и молчаливость она прослыла глупою. Крестная мать надарила ей множество вещей, но *bijoux*<sup>2</sup> Ольги недолго у нее держались: она все раздавала подругам, либо – просто и без дарения – возьмут поносить, да и заносят, а она не спрашивает. Станут Ольгу учить уму-разуму:

– Зачем зря раздаливаешь вещи? Они денег стоят.

– Великих ли денег? Грошовая дрянь. Если бы брильянты или валансьен, – не бойтесь, не отдам...

– Все-таки лучше берегла бы для себя... Ольга улыбалась.

– У Полины Кондратьевны этой дряни полны сундуки. Скажу, что надо, – еще подарит.

– Счастливица!

Однажды Машу Лусьеву пригласили на свадьбу. Надо было одеться поприличнее. Платье довольно хорошее у нее нашлось. Украшения пообещалась дать Ольга. Приходит к ней за ними Маша. Ольга только что приехала домой от крестной матери больная, не в духе, лежит на диване, руки за голову, зевает, еле отвечает на вопросы. Вещи она отобрала для Маши отличные.

– Счастливица ты, – по обыкновению говорит Маша, – чего-чего у тебя нет. Просто зависть берет на твое счастье.

Ольга в ответ промычала что-то не слишком веселым и одобрительным тоном; ее мучил жосточайший мигрень, и она усиленно растирала томимый болью висок платком, вымоченным в одеколоне.

– Золотая душа твоя Полина Кондратьевна, право, золотая...

– Бог смерти не дает, должно быть, заживо вознесена в рай будет, – странным, злобно-насмешливым голосом возразила Ольга.

– Как ты говоришь... – смутилась Маша. – Будто совсем ее не любишь...

Ольга молчала.

– Она тебе столько благодетельствует... дарит. Разве ты ей не благодарна?

– Если бы смела... с удовольствием бы швырнула все эти цацки ей в рожу... – неожиданно прорвалась Ольга, засверкав глазами.

Маша совсем растерялась.

– Ой, что ты это... За что?

– Да уж за то... стоит...

Маша подумала, что, должно быть, между крестною и крестницей пробежала черная кошка, поссорились, и теперь Ольга нервничает и злится. Она хотела смягчить неприятный разговор и свести его к шутке.

– Ну, ты совсем неблагодарная, – смеясь, сказала она. – Не стоишь своего счастья. Если бы Бог дал мне такую крестную маму, я бы ее вставила в киот. Слушай. Подари мне свою Полину Кондратьевну, а я тебе отдам свою крестную.

Ольга посмотрела на подругу острым, серьезным взглядом.

– Вот что, Машка, скажу тебя напрямик и твердо: ты этим со мною не шути. Избави тебя Бог. И слов вперед мне не говори, не начинай, не смей...

– Помилуй, Оля, что ты? разве я серьезно?

– Знакомиться с Полиною Кондратьевной не воображай: не допущу, не позволю...

– Я и не мечтала... тем более, если ты так ревнуешь...

– Я ревную?..

---

<sup>2</sup> Драгоценности (фр.).

Ольга даже зубами скрипнула, но спохватилась и договорила уже спокойно:

– Ревную я или нет, – этого ты не поймешь, мое дело. А тебе по дружбе советую: не завидуй ты мне и не мечтай о моем счастье. А если столкнет тебя дьявол где-нибудь с моею Полиною Кондратьевной, беги ты от нее, как от огня, не льстись, не знакомься. И если когда-нибудь я сама стану уговаривать тебя поехать к ней, прошу тебя: не слушай меня, откажись тогда...

– Да, ты не уговариваешь... Напротив, не хочешь... Ольга возразила, глядя в сторону:

– Вот и напони мне этот наш разговор, как я не хотела... Потому что, Машенька, сейчас я тебе все это – свои слова говорю, душевные, по дружбе. А случается, что мне приказывают говорить... Я, Маша, живу не на своей воле... Не всегда мне можно быть откровенною... А затем довольно об этом. Ну ее к черту... да и меня с нею тоже!..

«Какая она сегодня непонятная, – думала Маша, уходя от Ольги. – Точно она выпила?!»

Увы! Если бы подруги поцеловались на прощанье, – Ольга уклонилась от этого обряда под предлогом насморка, – то, вероятно, даже наивная Маша заметила бы, что от девицы Брусаковой жестоко разило коньяком.

### III

Одною из странностей Ольги Брусаковой было, – что она терпеть не могла показываться в обществе, на улице, в театре или в концертном зале с кем-либо из своих подруг. Если случалось ей сойтись публично даже с Машею, которую она, всем заведомо, очень любила, она делала неприятное лицо, едва здоровалась, уклонялась от разговора и всячески старалась отделаться поскорее от нечаянной и словно противной ей встречи.

Однажды Маша столкнулась с нею лицом к лицу на Морской. Ольга выходила из фруктового магазина с покупками в руках. Маша обрадовалась. Ольга нахмурилась.

– Ты куда? Домой? – спросила Маша.

– Да, думала уже домой...

– Вот и прекрасно, пойдем вместе...

Ольга слабо покраснела, пролепетала что-то невнятное и странно оглянулась по людной улице, кипевшей народом. Маша подметила этот робкий взгляд и рассердилась.

– Что это, право, Оля, – обиженно сказала она, – мешаю я тебе, что ли? Право, можно подумать, что ты меня стыдишься...

Ольга Брусакова посмотрела ей в лицо жалким, скрытным взглядом.

– Вот глупости... – пробормотала она. – С чего ты взяла? Пойдем, конечно. Очень рада.

– Отчего эта дама так пристально смотрит на нас? – спросила Маша, когда, обогнув угол, они приближались к Полицейскому мосту.

– Какая дама?.. Ах... Здравствуйте... – растерянно сказала Ольга красивой, нарядной особе, которая поравнялась с ними.

– Здравствуйте... – протяжно сказала та, окинув обеих девушек любопытным, пронизательным взглядом.

Подруги прошли было мимо. Маша с изумлением видела, что Ольга красна и дышит тяжело. Чувство оскорбления снова закралось в душу Лусьевой.

«Как она стыдится моего общества перед своими знакомыми», – с тоскою думала она, уже горько раскаиваясь, что просила Ольгу идти вместе, и решая в уме, что сейчас же расстанется с нею под каким-нибудь предлогом, возьмет извозчика, свернет в переулок, лишь бы освободить ее от своего неприятного присутствия.

– Виновата... Эвелина, мне надо сказать вам два слова, – послышался сзади любезный женский голос.

Ольга быстро повернулась: звала красивая встречная дама, – и подошла к ней.

«Эвелина?!»

Маша ничего не понимала.

Разговор Ольги с незнакомкою был короткий, но пылкий и, заметно, очень неприятный. Маша уловила несколько слов.

– Вы не имеете права... – нервно говорила Ольга. Дама спокойно и презрительно улыбалась красивым ртом и смотрела на Ольгу, как власть имущая.

– Это ваша подруга? – нарочно повысила голос она. – Какая хорошенькая!

Ольга, все более и более разгораясь, нагнулась к ней и зашептала быстро-быстро и как бы уже не споря, а просительно.

– Да, да... Я скажу Полине Кондратьевне... – с таким же неприятным спокойствием твердила дама. – А подруга ваша очень хорошенькая... До свиданья, Эвелина.

Ольгу так и передернуло. На ней лица не было, когда она возвратилась к Маше.

– Кто это? – спросила Лусьева, когда они отошли. Ольга пробормотала:

– А, мерзавка одна... Из маменьки крестной прихвостней...

– Ты с ней в ссоре?

– Как ни сойдемся, непременно поругаемся... Гадина!

– Она тебя Эвелиною звала... Как странно...

– Ничего нет странного, – быстро ответила Ольга, усиленно глядя себе под ноги. – Разве я тебе не говорила? Полина Кондратьевна меня так всегда зовет... Ну, и все в доме... Она ведь чудачиха, у нее каждому человеку своя кличка... Этой вот дряни, что мы встретили, настоящее имя Александра Степановна, а Полина Кондратьевна зовет ее Адель... Даже горничную Лушку, и ту перекрестила в Люцию<sup>3</sup>.

– А эта Адель – родственница ей или чужая?

– Черт ее знает. Говорит, будто родственница. Просто любимая приживалка... всем домом управляет.

– То-то вы с нею не в ладу...

– Да не то чтобы уж очень не в ладу, а... Скверно, что она тебя встретила со мною, – вот что... – вдруг искренно вырвалось у Ольги.

Машу опять кольнуло. Она готова была заплакать.

– Как это нехорошо с твоей стороны, Оля, – горячо сказала она. – Зачем ты так бестактно даешь мне понять, что я тебе не пара? Ну, пусть я бедная, а твои знакомые – аристократы... Неужели я уж так тебя срамлю? То ты все шла и оглядывалась по сторонам, будто мы что украли, теперь попрекаешь, зачем нас встретили вместе...

Ольга не отвечала, смотрела на тротуарные плиты, и до самого корпуса подруги шли в глубоком молчании. Маша чувствовала себя уязвленной до глубины души. Но у своего подъезда Ольга простилась с нею тепло и сердечно и крепко при этом поцеловала. На глазах ее дрожали слезы.

– Все равно, дура, думай обо мне, как хочешь... – сказала она трепетным, полным дружбы голосом. – Все равно, ты ничего не понимаешь, и не дай тебе Бог понять...

«Удивительная вещь, – думала потом Маша, – отчего она так расстроилась? Бедная Ольга. Должно быть у ее благодетельницы все-таки ужасный характер. Как Оля ее боится».

---

<sup>3</sup> О ложных именах: Parent Duchatelet, 129–135.

## IV

Спустя несколько дней Ольга навестила Машу. Вид у нее был совсем уже другой: холодный, равнодушный.

– Я к тебе сегодня по делу, – сказала она, глядя в пространство, мимо лица Маши. – Ты, помнишь, говорила, что хотела бы познакомиться с Полиною Кондратьевной? Ну, Аделька эта... помнишь, которую мы встретили на Невском? Насплетничала Полине Кондратьевне три короба, какая ты красавица и симпатичная, и теперь моя старуха совсем взбеленилась: вынь ей да подай – привези тебя в гости... Взяла с меня слово, что ты у нее непременно будешь... Уж поедем, пожалуйста, а то она меня заест...

– Отчего же нет? – отвечала Маша. – Я очень рада... Вот только ты – как?

Ольга пожала плечами.

– А мне-то что? – возразила она с искусственным равнодушием.

– А помнишь: ты меня предостерегала, чтобы я ни в каком случае не знакомилась с твоею крестною?

Девушка Брусакова стала густо-малиновою и захохотала деланным смехом.

– Ах, ты вот про что... Тогда? Ну об этом можешь забыть... Тогда я была сама не в себе... Она мне, за одну штуку, страшно обидную сцену сделала.

– Я так и поняла, что это было несерьезно, – тоже засмеялась Маша.

– Ну, конечно, несерьезно... – вяло подтвердила девушка Брусакова. – Поедем.

Маша отправилась к отцу спросить разрешения на новое знакомство. Родитель, разумеется, не только позволил, но и был польщен.

В богатой квартире Полины Кондратьевны Лусьева была встречена как родная. Красивая Адель была тут же.

– Вас хотели от нас спрятать, но это не удалось, – сказала она, шутливо грозя пальцем Ольге Брусаковой. Та улыбалась, но очень криво и с нехорошим бледным лицом.

Сама Полина Кондратьевна Рюлина оказалась величавою старухою, лет уже под шестьдесят. Она была массивна, как башня, одевалась молодо, белилась, румянилась и, заметно, с тщательностью старалась сохранить как можно доле остатки былой красоты и эффектной фигуры. Глаза ее удивляли своим выражением: беспокойным и в то же время наглым, дерзко вызывающим.

«Так смотрела Даша», – подумала Лусьева.

Даша была горничная, которая, прослужив у Лусьевых несколько дней, попала в воровстве, а когда пришла полиция составить протокол, то сыщик узнал в Даше известную профессиональную воровку, обирательницу мелких квартир.

Заговорила Полина Кондратьевна с Машею по-французски и заметно осталась довольна. Сама Рюлина странно акцентировала на всех языках, не исключая русского, хотя рекомендовала себя кровною русачкою.

Весь *train*<sup>4</sup> дома был приличен до чинности. Маша с удовольствием чувствовала себя среди «аристократической обстановки». По приказанию Полины Кондратьевны, Адель показала Марье Ивановне всю квартиру – очень большую, старинно и богато отделанную, с множеством бронзы, картин, *objets d'art*<sup>5</sup>. Некоторые картины были затянuty зеленым сукном. Особенно много таких было в роскошной и торжественной спальне хозяйки, сиявшей, кроме того,

---

<sup>4</sup> Образ жизни (*фр.*).

<sup>5</sup> Произведения искусства (*фр.*).



множеством зеркал: даже угол около гигантской двуспальной кровати и квадрат потолка над нею были зеркальные<sup>6</sup>. Маша выразила удивление. Адель засмеялась.

– Это вкус покойного супруга Полины Кондратьевны. Обстановка не менялась после его смерти. Полина Кондратьевна обожает его память, хотя, говоря между нами, он был большой шалун и *mauvais sujet*...<sup>7</sup> Например, хотя бы эти зеркала... Или эти картины... Посмотрите...

Адель отдернула один из чехлов. Марья Ивановна взглянула и потупилась, заливаясь румянцем: картина изображала сатира и нимфу поведения совершенно нескромного. Адель хохотала.

– Согласитесь, что такую прелесть нельзя держать на виду.

– И все, которые закрыты, такие? – спросила Маша.

– Все. Это был вкус покойного генерала. Когда-нибудь приходите днем, – я вам покажу... Есть шедевры... Даже Рубенс... Только Полине Кондратьевне не говорите: она ненавидит, чтобы их открывали, говорит, что мерзость...

– Я бы на ее месте просто велела вынести их на чердак...

– А, милая, говорю же вам: она боготворит память мужа... В квартире – вот уже пятнадцать лет – не тронута с места ни одна его вещь... Да к тому же и жаль: иные полотна чудно хороши, за них плачены тысячи рублей. Вот, например... Адель отдернула и другой чехол: Леда и лебедь...

– Это из мифологии, знаете, – смеясь, пояснила она.

Маша знала. Вещь была действительно художественная, чуть ли не майковской кисти. Любопытство преодолело стыд. Маша посмотрела картину, конфузясь, краснея, с угрызением совести, но и с любопытством.

– Тут Фрина с невольницей... Тут Пазифая... – быстро отдергивала и сейчас же задерживала полотна Адель, так что они едва успевали сверкнуть в глазах Маши обилием нагого тела и странными позами. – Это рубенсова семья сатиров... Все очень пикантно... Да вы заходите завтра днем... Часа в два... Полины Кондратьевны не будет дома: поедет с визитами... Я вам все покажу. Только ей – молчок, а то мне достанется.

Она призадумалась как бы с некоторой нерешительностью и вдруг хитро подмигнула.

– А, впрочем, я и сейчас еще покажу вам что-то интересное. Что же я все забавляю вас старьем? Перейдемте в будуар, – увидите новую живопись: чудесный Константин Маковский... Это уже приобретение... заказ самой Полины Кондратьевны и, конечно, ничего неприличного... так, – очень художественное *nudité*...<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Кузнецов, 34. Канкарович, 83.

<sup>7</sup> Чудак... (*фр.*).

<sup>8</sup> Обнаженная натура (*фр.*).

## V

Картина, действительно превосходная, изображала нагую женщину, стоящую во весь рост, в позе Венеры Медицейской. Но золотые волосы ее не были убраны *à la grecque*<sup>9</sup>, как у бессмертного образца, но, распущенные по плечам и спине, катились волнами именно уже «рейнского золота» ниже колен. Маша Лусьева смыслила кое-что в живописи. Она сразу распознала, что это – портрет, и ахнула в изумленном восторге:

– Какая красавица. Кто такая?

Адель, с улыбкой странного самодовольства, назвала:

– Евгения Александровна Мюнхенова. Слыхали?

– Нет.

Адель высоко подняла черные брови.

– Не слыхали про Женю Мюнхенову?

– Никогда не слыхала.

– Ну, Мари, вы, должно быть, не в Петербурге живете, а в какой-нибудь медвежьей берлоге... Впрочем... вам который год?

– С прошлой недели пошел девятнадцатый.

– Ага! Значит, когда Женя блистала в Петербурге, вы были еще совсем маленькая девчушка. Ведь это около десяти лет тому назад. Уж седьмой год, что ее нет в России...

– Она... артистка была?

– Н-н-н-е-ет... – протянула Адель, – не совсем... Ее, знаете, безумно любил великий князь...

Названное имя заставило Машу, верноподданную обожательницу царской фамилии, округлить глаза новым изумлением, почтительным почти до страха.

– Как же это, Адель Александровна? – робко возразила она, – ведь он женатый и у них дети взрослые?

Адель рассмеялась.

– Ах вы... наивность! Как будто женатые не влюбляются! Что же им, под венцом, глаза, что ли, выкалывают, чтобы не видали больше женской красоты?.. Великий князь человек с развитым эстетическим вкусом... А согласитесь, что между Женей Мюнхеновой и этой жирной немецкой принцессой, его супругой, есть маленькая разница не в пользу законной толстухи...

– Еще бы! еще бы! – подтвердила Маша, восторженно вглядываясь в красавицу, которая, гордо победительницею, чуть улыбалась ей с полотна. – Господи, как хороша! Просто невероятно, до чего хороша!

– Да, очень хороша. Так хороша, что, пожалуй, лучше уже не бывает. И смею вас уверить: Маковский ей не польстил, а, напротив, на портрете Женя и вполтину не так прекрасна, как на самом деле. Здесь она статуйна немножко, – застылые классические черты. Константину Егоровичу не удалось схватить жизни ее лица, синего огня глаз ее удивительных...

– Богиня! истинно богиня! – повторяла Маша. Адель бросила на нее лукавый проницательный взгляд.

– А ведь вам хочется о чем-то спросить меня, да не решаетесь? – усмехнулась она.

– Я?... что?... Почему вам кажется?... Нет! – удивилась Маша.

Но Адель, без внимания к ее отрицанию, продолжала:

– Хорошо уж, плутовочка вы этакая, я пойду навстречу вашему вопросительному взгляду. Вас, не правда ли, удивляет, почему портрет Жени Мюнхеновой, да еще в обнаженном виде, помещается так почетно в будуаре такой строгой дамы, как наша милая Полина Кондра-

---

<sup>9</sup> По-гречески (*φρ.*).

тьевна? Очень просто: Женя Полине Кондратьевне немножко сродни... правда, седьмая вода на киселе, но все-таки... и почти воспитана ею... Ведь и с великим князем-то она познакомилась здесь, у нас в доме...

– Как? у вас в доме бывает великий князь?! – до мурашек по спине ужаснулась Маша.

– Очень часто, – равнодушно подтвердила Адель. – И не он один, многие из великих князей бывают. А этот... еще бы ему не навещать Полину Кондратьевну, когда покойный генерал был его сослуживец и боевой товарищ? Он к нам – запросто. Когда-нибудь вы с ним у нас встретитесь.

– Ой, Адель Александровна, что вы! Господи, как страшно! Да я, кажется, сквозь землю провалюсь...

– А вот я нарочно вас сведу, чтобы вы не воображали его сверхъестественным существом каким-то... Мужчина, как все, и очень простой, любезный, обходительный господин... Женя, – кивнула она на портрет, – была с ним очень счастлива. А он с того времени, как она его бросила, не может утешиться, все ищет замены, но... не так-то легко...

– Я думаю! – согласилась Маша, опять вглядываясь в портрет, – уже завистливыми, ревнивыми глазами.

Но Адель, с плутовской улыбкой, – фамильярным приятельским жестом – ударила ее по плечу.

– Вот увидит вас, влюбится и забудет Женю...

– Ну уж! где мне! – вздохнула Маша. – Я, после этого портрета, буду стыдиться на себя в зеркало взглянуть...

– Уж будто? – смеялась Адель. – А вы хитрая, и напрашиваетесь на комплименты. Унижение паче гордости. Не поверю я, чтобы вы не понимали своей красоты. Вы, душечка, в своем роде стоите Жени. У вас с нею только разный тип. Она блондинка, вы темная шатенка, – вот и вся разница...

## VI

Маша сознавала, что Адель ей безбожно льстит, но слушать было приятно, а к красавице на полотне в ее маленьком глупеньком сердечке зашевелилось не очень-то дружелюбное чувство критического соперничества. Захотелось искать в совершенстве Жени недостатки, сказать о ней что-нибудь неприятное.

– И все-таки, – вымолвила Маша не без презрительного оттенка в голосе, – сколько она ни хороша, я не понимаю, как же ей не стыдно было так позировать?..

– Ну это-то пустяки, – небрежно возразила Адель. – Вы в Петергофе бывали? дворцы осматривали?

– Сколько раз.

– Значит, должны были видеть портрет императрицы Елизаветы, когда она была маленькою великою княжною. Отец, Петр Великий, велел написать ее тоже совсем голенькою, чтобы все любовались, до чего она прекрасна...

– Да, но там маленькая девочка... бессознательный ребенок...

– А угодно вам взрослую, то на Невском, против Гостиного двора, на лотке у любого формовщика вы найдете гипсовую отдыхающую Венеру Кановы, то есть Полину Боргезе, сестру Наполеона Первого.

– Пусть так, но что же из того следует? Все-таки стыдно.

– Следует то, милая, что на настоящих высотах жизни красота перестает считаться с мещанскими предрассудками и не стыдится себя, а, напротив, эстетически гордится своей победительной силой...

– Ах да! Это – как в Греции... Фрина! – вспомнила Маша из запретного гимназического чтения страницу, целомудренно зачеркнутую в учебнике истории педагогическою цензурою, а потому прочитанную гимназистками с особенным живым интересом.

Губы Адели тронула легкая насмешливая улыбка, которую она искусно скрыла.

– Вот именно, как Фрина пред судьями... А кстати: вам не случалось слышать, что в Петербурге есть барышня, некая Юлия Заренко, до того похожая на «Фрину» Семирадско-го, что так и сливет в обществе Фриною?

– Неужели настолько хороша? Адель пожала плечами.

– Как вам сказать? Конечно, хороша, но, по-моему, уж слишком захвалена и сама слишком много о себе воображает... Я вам покажу ее как-нибудь, она у нас бывает. Вы, на мой взгляд, гораздо лучше.

– Ох, вы, кажется, тоже хотите совсем меня захвалить! – смущенно рассмеялась краснеющая Маша.

А Адель твердила:

– Я только откровенна, только искренна!.. И ненавижу условности... условные фразы, условные поступки, условную мораль, отраву всей нашей жизни... В особенности, ох уж эта мне условная мораль петербургских мещан! За что я больше всего люблю и уважаю мою старуху, это – что в ней бесконечно много истинного достоинства и стыда, но ни малейшего страха пред глупыми условностями, которыми общество само себя сковывает, как кандалами. Собственной совести бояться – это мы с нею понимаем, но, что люди скажут, нам решительно все равно... Ведь вот и за Женю эту восхитительную сколько нам доставалось, когда она жила с великим князем, зачем мы ее принимаем у себя, не отвернулись от «погибшей женщины», как всякие там злородные и надутые мещанские добродетели... Из которых, однако, каждая, конечно, мечтала втайне: «Ах, если бы мне быть на ее месте!..» Потому что Женя видела у своих ног всю власть, все богатство, весь блеск, всех могущественных и знаменитых людей – да не только Петербурга, а всей Европы... Вот вам и «погибшая женщина»!..

– Однако, Адель Александровна, – робко протестовала Маша, побуждаемая проснувшимся в ней недружелюбием к красавице, – если она пожертвовала своим добрым именем для власти, богатства и блеска, это, согласитесь, действительно нехорошо... извините, что-то даже... продажное!

– Нет, это вы извините! – воскликнула Адель, даже с горячностью. – Ошибаетесь! Женя не продавалась! не способна была! Она сошлась с великим князем по глубокой, искренней взаимной любви. А что она так рискнула собою, то – что же было делать, если его высочество узнал Женю слишком поздно, когда был давно женат? Любовь не рассуждает и не терпит, а развод на этих высотах – дело недопустимое: династический скандал, нарушение политического равновесия Европы!.. А когда Женя заметила, что она ошиблась в князе и разлюбила его, то – как благородно и честно поступила! Никакие богатства и почести ее не удержали, не захотела кривить душою, – бросила все и ушла...

Маша вынуждена была согласиться:

– Да, если так, то, конечно...

Но Адель, все с тою же пылкостью, напирала:

– Как вы думаете: такая *grande dame*<sup>10</sup>, как Полина Кондратьевна, женщина старого институтского воспитания, полная самой взыскательной *pruderie*<sup>11</sup>, стала бы поддерживать дружеские отношения с продажной женщиной и вешать ее портрет на стену своего будуара?

Столь прямо поставленный вопрос застал Машу врасплох. Некоторое сомнение в великих добродетелях голой богини все еще смутно копошилось в ее мыслях. Но Адель и не ждала ответа, а с победоносной наглостью заключила:

– То-то вот и есть!.. А, милая мешаночка, я вас заставлю переменить мнение, пуританка вы этакая! Я вам еще порасскажу о Жене... Это не простая женщина, а живая волшебная сказка из тысяча одной ночи!.. Ну и вообразите себе теперь, что сказка эта, в угоду мешанским предрассудкам, вместо своего преступного романа с женатым великим князем, добродетельно обвенчалась бы с какими-нибудь холостым или вдовцом чинушей, столоначальником, начальником отделения или как там зовут их еще?.. Женя Мюнхенова в средней буржуазной обстановке! Ведь это же просто противоестественно, дорогая моя!.. Женя сголоначальница! Женя хозяйка квартиры, вде-нибудь в Рождественских, мать дюжины плаксивых ребят! Разве не грех? разве не преступление?

Случаем ли Адель метко попала в цель, Ольга ли Брусакова ее научила, но эти последние слова ее затронули как раз самую больную струну в сердечке Маши Лусьевой. В последнее время к ней упорно сватался столоначальник учреждения, в котором служил ее отец. Человек был приличный, с возможностями успешной карьеры, на виду у начальства. Словом, жених – хоть куца. Отец Маши очень ему покровительствовал и – нудить не нудил, но очень донимал дочь бесконечными разговорами-нотациями, что пора ей пристроиться, а лучше случая – и желать нельзя. Но Маше жених не нравился: казался скучным и пошлым, – в тридцать лет сухарем, а что же дальше будет?! Вообще, к чиновничьему миру Маша относилась с недружелюбием и заключиться в нем на всю жизнь представлялось ей жребием почти что самоубийственным. Понимая свою красоту, она даже к влюбленным в нее из этого мирка не имела веры и критиковала их скептически:

– Знаем мы, зачем ему нужна красивая жена. Женится, да и заставит себе карьеру делать. Предоставит кому-нибудь из начальства...

Так что суждение Адели о браке с «чинушей» взволновало Марью Ивановну, как эхо ее собственных мыслей, и с этой минуты злополучный столоначальник потерял чаемую невесту безнадежно навсегда.

---

<sup>10</sup> Светская дама (фр.).

<sup>11</sup> Показная добродетель (фр.).

## VII

В карете, уносившей подруг к родным пенатам, Маша трещала, как канарейка: уж так-то понравилась ей госпожа Рюлина и в особенности приветливая Адель. Ольга угрюмо молчала.

– А картины она тебе показывала? – спросила она наконец усталым, скучным голосом.

– Да... Фу, какая гадость!.. Не понимаю, как их можно держать в доме...

– Нравятся иным... – с насмешкою протянула Ольга. – Но зато Жени Мюнхеновой портрет – какая прелесть! Ольга встрепенулась.

– Как? – бросила она порывистый вопрос, – Адель уже просветила тебя и о Жене Мюнхеновой?

– Фу, Ольга! – удивилась Маша, – «просветила!» как ты странно выражаешься!

– Не в том дело... Ну, ну! что она тебе о Жене наговорила? Маша передала. Ольга хмуря слушала, покусывая губы.

Когда Маша кончила:

– Ты все-таки этого имени дома как-нибудь не брякни! – посоветовала Ольга, откидываясь в темную глубь кареты. – Хотя твой почтенный родитель тоже довольно невинный цыпленок для своих преклонных лет, однако, может быть, как-нибудь случайно осведомлен... И едва ли ему понравится, что дочка посещает дом, где на стенах красуются непристойные картины, а хозяйки читают девицам лекции о превосходстве содержанок... хотя бы и великокняжеских! – над порядочными женщинами...

– Да я уже и сама соображаю, что тут кое о чем лучше будет промолчать, – поддакнула Маша с важностью заговорщицы.

Ольга странно, неприятно рассмеялась.

– Да, уж лучше помолчи! Однако, как Аделька спешит с тобою... вот спешит! – вымолвила она после короткой паузы, как бы размышляя вслух. – Я не запомню, чтобы она с кем-либо еще так спешила...

– То есть... как это? в чем? Я не понимаю.

– Дружить с тобой уж что-то слишком пылко устремилась... Ты, Маша, как хочешь, твое дело, но все-таки мой тебе добрый совет: не бери очень всерьез, что она тебе толкует... Она ведь у нас соловей, запоем кого хочет...

– Разве она мне все неправду говорила? – недоверчиво озадачилась Маша.

– М-м-м... н-н-нет... правдою правду, пожалуй, н-но...

– Что же?

– Да талант у нее – так повернуть и расписать правду, что уж лучше бы лгала...

– Однако, Оля, вот это, что она хвалилась, будто у них бывают великие князья, – это-то верно?

Ольга опять вся нырнула в мрак.

– Всякие у них бывают, – послышался сухой ответ.

– И великие князья? – настаивала Маша.

– Ну... иногда и великие князья... вот пристала!

– Так-таки вот – точно мы, в своей среде, друг к другу в гости ходим? совсем запросто?

– О, слишком запросто! – быстрою злою насмешкою откликнулась Ольга.

– И ты встречалась с ними?

– Имела это... удовольствие.

– Господи, какая счастливица! Но как же ты мне никогда ничего о том не говорила?

– Должно быть, к случаю не пришлось. Да и Полина Кондратьевна – заметь кстати и для себя – вообще не любит, чтобы на стороне болтали о том, что делается у нее в доме... Знаешь, поговорка советует сора из избы не выносить...

– Помилуй, Оля, какой же этот сор – визит великого князя? Ты просто деревяшка, ледышка какая-то, если можешь равнодушно говорить о подобной чести... Я прыгала бы от радости!

– Прыгай, пожалуй, если уж ты такая... верноподданная, – с особенной, до грусти, серьезностью отозвалась Ольга, – но, Машенька, еще и еще повторяю: когда Аделька опять будет набивать тебе голову эпопеями о великих князьях и разных там Женях Мюнхеновых да Фрихах, дели все, что слышишь, на десять: девять выкинь, одно оставь... да и то еще обочтешься!

Девушки умолкли – каждая в своих мыслях. Карета катила их в родной казенный двор.

– Да, – внезапно сказала Ольга, прощаясь с Машею, – скверные картины... Ненавижу их... Не увлекайся, не соблазняйся ими, Машенька...

– Ольга, – ты с ума сошла!.. – воскликнула изумленная Лусьева. – Неужели ты думаешь, что они могут мне нравиться?

Ольга горячо жала ей руку и говорила:

– Я, когда их вижу, всегда об одном думаю. Хорошо, что все эти госпожи рисованные – мертвые, фантазия одна... А если бы живые?.. Ты вообрази только, поставь себя на место женщины, которая была бы так... и все бы на нее смотрели... разбирали вслух ее красоту, ее сложение... Каково бы ей было? а?

– Что ты! разве это возможно? – озадачилась Маша.

– Да ведь писано же с кого-нибудь...

– Ну уж, должно быть, с каких-нибудь совсем бесстыдных... – горячо воскликнула Маша.

– Прощай, – сухо сказала Ольга и скрылась за дверью.

Маше спалось отлично, ей снились очень веселые сны в эту ночь.

## VIII

В скором времени Марья Ивановна стала в доме Рюлиной своим человеком и, вопреки предостережениям Ольги Брусаковой, особенно дружески сошлась с красивой, умною Аделью. Лусьева еще не совсем вышла из того возраста, когда «обожают» интересных старших девиц и дам. Кроме Адели, у Маши появилась новая приятельница, некая Анна Казимировна Катушкина, по кличке рюлинского дома – Жозя, молодая разводка полупольской крови, очень красивая и веселая блондинка с заманчиво туманными глазами, крупная, породистая, с языком циническим, но острым, – неистощимый источник каламбуров, анекдотов и афоризмов самой беспечальной философии<sup>12</sup>. Маше – впрочем, Рюлина успела уже и Лусьеву переделать в Люлю, по первому слогу ее фамилии – Жозя казалась очень милою, доброю, немножко жалкою, а что – шальная, то с нее и взыскивать нельзя: жизнь несчастная.

– Влюбчива я, душки! – ахала про себя сама Жозя. – Ах, если бы не моя проклятая влюбчивость! Ах!.. Ко мне князь Свиноплясов, за красоту мою, без приданого сватался, – десять миллионов, душки! – а меня черт дернул в Катушкина врезаться: он у татка в конторе за бухгалтера служил... глаза пронзительные, маслинами... ну и кувыркком! и тайный плод любви несчастной!.. вот тебе, здравствуй, и княгиня!.. Спасибо еще, что хоть сам-то Катушкин не спятился, соблаговолил жениться... Но и дул же он зато потом меня, душки, – вот дул!.. С Катушкиным Бог развязал – банкир Баланович, – знаете, на Невском? У-у-у! его все боятся, всех в лапе держит, паучище, – беда! – звал меня жить за хозяйку... Собою еще молодец, усы, духи самые джентльменские, квартира, лошади, полторы тысячи в месяц на булавки... Я было и с лапочками, но тут подвернулся юнкер Шмидт. Выжимает шестьдесят килограммов, в рейтузах... Говорит: с милым рай и в шалаше, а то застрелюсь... Два месяца голодала с ним, как собака, да еще – отчаянный: полтора раза стрелял в меня из револьвера, потому что имел товарища Шульца... вот зубы, душки! ах, милые, шульцевских зубов нельзя видеть без восхищения! Жемчуг! У дантистов в витринах не видала подобных!

– погоди, Жозя, – издевалась Адель, – как же это Шмидт стрелял в тебя полтора раза?!

– А во второй раз осечка вышла. Впрочем, это уж не из-за Шульца. К Тартакову приревновал. Я портрет Тартакова купила за гривенник и спрятала под подушку. А Шмидт мой, длинноносый, нашел и сейчас же – за револьвер. Это у него ужасно как скоро всегда начиналось. Потому что он, душки, так себя понимал, что папаша у него пьяница, мамаша в сумасшедшем доме сидит, а я, говорит, наследственный декадент и психопат и никакого суда на свете не боюсь, потому что, какого лихого прокурора на меня ни спусти, с меня взятки гладки... Чуть поругаемся, глядь, револьвер уже в руках... И тебя, – говорит! И себя, – говорит! И его, – говорит! И всех, – говорит! А я с Тартаковым и по это время не знакома... ей-Богу!

– А зачем покупала портрет?

– Тут в аптеке соседней провизор был, очень похож: славный такой еврей, молоденький, круглолицый, куцравый... ужасно как мне нравился.

– И с провизором был роман?

– Что! Не стоит внимания: всего два randevu, а после его мамаша с папашею в Вильну выписали и женили на бакалейной вдове... Да! Влюбчива, дети мои! Что делать? Судьба. Погибаю от влюбчивости. Весь мой глупый характер: не могу. У кого голова кудрявая, – не могу. Сколько я от одного подлого актерья горя перетерпела, потому что, если мужчина средних лет очень аккуратно выбрит, против этого я уж никак не могу устоять. В одного влюбилась зато, что пиджак синий носил, очень хорошо сидел на нем... А он, дурак, возьми да явись на свидание в коричневом рединготе... ну и никакой иллюзии... потеряла настроение, прогнала.

<sup>12</sup> Ломброзо, 448.



– А теперь кто у тебя, Жозя?

– Инженер... преогромнейший, души, мужчина... и все шампанское хлещет...

И Жозя, захлебываясь, повествовала, как и где она познакомилась с инженером, и какие приключения у них затем вышли.

– Стой, Жозька, перестань, – хохоча, обрывала ее Адель. С тобою договоришься. В голове у тебя дырки, ветер продувает, язык без костей... Разве можно входить в такие подробности? У, бесстыдница! Тут барышня сидит, слушает, ей этого нельзя...

– Ну-у-у-у? – отчаивалась Жозя. – Ах я окаянная! Всегда увлекусь, забудусь... Вы, Люлю-шечка, простите, не обижайтесь на меня, грешницу. Я ведь проста.

– Ну что вы, Жозя? Что это, право, какая вы, Адель? – обижалась Маша. – Разве я маленькая? Смешно не понимать.

Адель строила строгое лицо.

– Нет, нет... Полина Кондратьевна услышит, будет сердиться. Скажет, что мы вас развращаем... Она на этот счет такая *prude*... Женщина старого воспитания... Ей и генерал покойный анекдотами подобными надоел...

– Их дома нет, – спешит вмешаться любимая камеристка Рюлиной, русская красавица Люция, по паспорту ярославская крестьянка Лукерья Куцулупова, всегда фамильярно вертевшаяся в комнатах при барышнях, – по фавору у хозяйки дома почти что в ровнях с Аделью. – Их дома нет, уехали с визитами...

– Ну, разве что дома нет.

Ольга Брусакова и этой Машиной дружбы не одобряла. О Жозе она выразилась кратко, но сильно:

– Хуже Адельки. Мерзавка и предательница.

Это было до того не похоже на правду, что Маша возмутилась.

– Господи! Что с тобою делается, Ольга? Ты мизантропкою становишься. Откуда это у тебя? Всех бранишь, ко всем дурные подозрения, злость, ненависть какая-то...

– Как знаешь. Твоя знакомая, твое дело.

– Ты с нею сама друг, даже на «ты».

– Я! Мало ли что я... Если Полина Кондратьевна мне прикажет, я и с Люською буду на «ты»... А ты человек свободный, у тебя должна быть своя воля, ты можешь выбирать себе подруг...

– Что ты имеешь против Жози?

– Она поганая.

– Что в разводе с мужем, так уж и поганая? Это, Ольга, надо знать, отчего.

– Дело не в разводе, а... Ну да поживешь, – сама оценишь эту цацу. Что она, небось, все пакости свои тебе врет? И книжонки скверные навязывает? Ведь она без того жить не может. Дрянь, вся дрянь. И телом, и душою. Да и ты, Маша, хороша, нечего сказать: как уши не вянут слушать?

Маша обиделась.

– Скажите, сколько нравственности! Ах!.. Угнетенная невинность или поросенок в мешке!..

– Вот и это, про поросенка, ты уже от нее, от Жозьки... Можно поздравить с успехами... Способная ученица!..

– В чужом глазу сучок мы видим, в своем не чувствуем бревна. А у самой – «Афродита» под подушкою.

– Я – что? – стихла сконфуженная Ольга. – Ты себя со мною, говорю тебе, не равняй. Я уже в старые девы гляжу... И сложилось у меня все так... особенно... ты не знаешь... Я отравленная, человек пропащий. А ты девочка свежая, молодая... Тебе жить да жить...

– И поживем, – хохотала Маша. – Еще как поживем-то. Что ты, право? Нам с тобою только время о женихах думать, а ты панихиды поешь. Поживем.

– Ну, давай Бог, живи.

## IX

За месяц, что Маша, как говорится, и легла, и встала у Полины Кондратьевны, она изрядно втянулась в долги. Адель, Жозя, Ольга одевались шикарно. Лусьевой было стыдно оставаться рядом с ними «чумичкою, хуже горничной», тем более, что, в данном случае, эта фраза, столь обычная в устах всех тоскующих от безденежья модниц, звучала совершенною правдою: прислуга в доме Рюлиной была одета очень хорошо, а Люция франтила, совсем как барышня, по последней моде. На одно хорошее платье Маша выпросила денег у отца, – он дал с удовольствием, потому что желал, чтобы дочь бывала часто у Рюлиной, воображая, что знакомство принесет ей покровительство и пользу. Но в то же время предупредил:

– Больше не проси, – рад бы, да не осилю. Поэтому другое платье Маша, скрепя сердце, заказала знакомой портнихе в кредит, с ее материей, приняв обязательство уплатить через месяц, но сама не зная, на что рассчитывает, когда обязательство принимала. Срок приближался к концу. Денег, конечно, не было. Маша с трепетом ждала, что вот-вот портниха предъявит ей счет... надо либо виниться перед отцом и выдержать жестокую сцену, либо извернуться, перехватить деньжонок... Спросила у Ольги. – «Нет, сама на мели... и не в ладах с Полиною Кондратьевною, не смею просить». Маша совсем загрустила.

Тоску ее заметили у Рюлиной, и Адель, оставшись наедине с девушкою, легко выпытала, в чем заключается ее печальная тайна.

– Вот пустяки, – воскликнула она. – Стоит горевать. А мы на что? Сколько вам?

– Тридцать два рубля, – с ужасом призналась Маша.

– Ах как страшно! – подумает, миллионы... О такой мелочи и Полине Кондратьевне не стоит говорить, я ссужу вас из своих. Я ждала все-таки палочку с двумя нулями...

– Что вы, что вы, Адель, как можно! Я ста рублей и в руках никогда не держала.

– Вот, возьмите, Люлю... укротите вашу свирепую кредиторшу... Как не стыдно было давно не сказать?... Скрытная!.. А заказов ей вперед не давайте. Между нами говоря, она шьет на вас отвратительно. Прачкам так одеваться прилично, но хорошенькой изящной барышне непозволительно. Разве это туалет – на тридцать два рубля?

– У меня нет средств одеваться дороже.

Адель ласково обняла Лусьеву.

– Зато у вас есть друзья, которые заботятся о вашей красоте больше, чем вы сами. Полина Кондратьевна давно уже просила меня предложить вам ее кредит у *madame Judith*, но я все забывала... Ну а теперь, раз к слову пришлось, – хотите?

– В долг? Нет, Адель, я не могу должать.

– Вот?! Почему?

– Долг платежом красен. Я бедная. Откуда возьму денег расплатиться?

– С кем? С *madame Judith*? Полина Кондратьевна платит ей два раза в год.

– Нет, с Полиною Кондратьевною.

Адель опять ударилась смеяться и трепать Машу по плечу.

– С Полиною Кондратьевною? Полно, не смешите, Люлю, когда она требует долги? С кого? Это у нее страсть – баловать нас, молодежь. Я, Жозя, Ольга – все у нее по уши в долгу, без отдачи. Разве мы, бедные церковные крысы, в состоянии так франтить, если бы не она? Все живем ее кредитом, и никогда ни у кого никаких неприятностей. А вы сейчас у нее в особенной милости, фаворитка. Она рада будет, вы ее обяжете. Ведь ангел же, воплощенная доброта. Рада все отдать, если кого полюбит. Хорошо, что у нее нет близких родных. А то ее давно в опеку взяли бы, – честное слово.

И вскоре после этого разговора податливая Маша-Люлю была одета, как парижская картинка, одною из самых дорогих модисток Петербурга. Поданный счет Адель все-таки попросила Машу подписать<sup>13</sup>.

– Знаете, деликатнее... Старуха не любит, чтобы ее благодарили, – вообще, чтобы подарок имел вид подарка... Подарки без оплаты, по ее взглядам, немножко оскорбляют тех, кто принимает; из-за подарков всегда потом начинаются неприятности, разлад... Предвзвездок, конечно... А, впрочем, может быть, она и права... Во всяком случае, декорацию эту, будто вы должны, красивее сохранить... ведь и для вас удобнее... Мы все так делаем, и она очень довольна.

Маша подписала счет, причем цифру долга Адель прикрыла рукою.

– Не покажу. Вы еще в обморок упадете.

– Ну что вы, право... Покажите, Адель... Сколько? Адель с обычным своим хохотом воскликнула:

– Тридцать два рубля!

– Ах, Адель, какая вы шалунья!

– А вы, милочка, красавица! Для вас – все на свете.

Подарки – вообще сила развращающая, но подарки кредитом опаснее других, потому что при них не так осязательно чувствуется благодарность к дарителю, менее смущается совесть даропринимателя. Что же, мол? Ведь не свое дает, ручается за меня только; я не подведу, ручательство оправдаю, расплачусь... Мало-помалу, день за днем, Маша Лусьева получила кредит в нескольких магазинах Гостиного двора, у парфюмера на Морской, у фруктовщика в Милютиных рядах, у очень солидного, хотя и русского, ювелира на Невском.

– Ах, – сама на себя ужасалась она, – какая я негодница!.. Должаю, должаю и удержаться не могу... Вот – как Жозя влюбляется, так я должаю... Словно демон меня обуял!.. Как буду отдавать?

– Отдадите, милая, – утешала Адель. – Вот, даст Бог, выйдете замуж за богача, – тогда мы с вас все и потребуем.

– Так и возьмет меня богатый.

– Такую-то красотку? Да вас у нас с руками оторвут. За миллионера отдам. Меньше – не согласна.

– Скромничает невинность! – трунила и Жозя. – А на кого Ремешко смотрит каждый вечер, как кот на сало?

Ремешко – молодой и довольно представительный, всегда безукоризненно одетый господин, с драгоценнейшим солитером в булавке галстука – бывал у Полины Кондратьевны довольно часто. Как-то раз Маша упомянула его фамилию у себя дома. Отец ее оживился:

– Ремешко? Из каких Ремешков?

– Не знаю. Адель говорит, что с юга откуда-то, овцеводство там у него какое-то особенное... Очень богатый человек.

Старик так весь и встрепенулся.

– Какое-то? О-го-го! Дурочка! Если этот Ремешко тот самый, то – перед ним все шапки долой: архимиллионер. Понимаешь? О нем вот что рассказывают. Встречает он где-то, в клубе, что ли, тоже овцевода одного, хвастуна великого. А в лицо его, Ремешко, хвастун не знает, да и фамилию не расслышал, мимо ушей пустил. «Вы, – спрашивает, – чем занимаетесь?» – «Я, – скромно отвечает Ремешко, – имею свое хозяйство, овцою пробавляюсь...» Хвастун давай ему вперебой расписывать про свое хозяйство, какое оно превосходное... Надоел. Ремешко спрашивает: «И много у вас овец?...» Хвастун говорит: «Двадцать тысяч. А у вас?...» Ремешко

---

<sup>13</sup> Корнич, 29. Cutrera, 37–39.

отвечает: «Овец не считал, но собак при овцах у меня вдвое больше...» Вот он каков, этот господин Ремешко!

Тот ли, не тот ли, но Ремешко действительно ухаживал за Машею очень скромно, почти-тельно, как человек хорошего воспитания и честных правил. Хотя он Маше не нравился, однако после родительского анекдота об овцах и собаках Лусьева стала поглядывать на архимиллионера с большим, чем прежде, интересом. Тем более, что архимиллионер не раз проговаривался многозначительными фразами, что жениться богатому на богатой без любви – преступление. «Я женюсь только по сильной страсти; мой идеал-девушка, выросшая в небогатой, честной семье, неизбалованная, со скромными весами и привычками...» Адель при подобных заявлениях толкала Машу под столом ногою, и Маша мало-помалу выучилась в ответ на них краснеть, словно бы они именно к ней относились...

– Вот будет у тебя сорок тысяч собак, – ты нам все собаками заплатишь, – острила Адель.

Острила Адель, острила Жозя, острила Полина Кондратьевна, острила сама Маша, – все острили и смеялись. Ужасно много было в этом доме острот и смеха, а под смех и остроты Маша все забиралась да забиралась в кредит<sup>14</sup>.

Ольга Брусакова вмешалась было:

– Не зарывайся, Марья! Серьезно тебе говорю: это скверно кончится. Ты Полины Кондратьевны не знаешь... Она с большими капризами...

– Да ведь не у тебя беру, – выучилась уже огрызаться Маша. – Жаль тебе чужого? Что взяла, то и отдам...

– Когда? Чем?

– Ждут, не требуют, – чего же мне заботиться? Я все помню: сколько, куда, кому, на что... Отдам.

– То-то, надо помнить. Отдать, Машенька, придется. Будь ты Люлюша-Разлюлюша, а придется, – в этом я тебя заверяю. И заставят тебя заплатить гораздо скорее, чем ты надеешься. Ты Адельке не верь, у нее свой расчет в голове.

Маша призадумалась было, посдержала себя, стала экономнее. От Адели не укрылась ее новая осторожность, она узнала причину и пришла в страшное негодование.

– Ох уж эта мне Ольга-Эвелина! – с досадою кричала она. – Вечно сует свой нос, куда не спрашивают. Ревнива, как бес, жадная, злая... Уж, кажется, ей-то пора бы быть сытою и совесть знать: задарена выше головы, избалована, как принцесса... Нет, всего мало, все недобольна: зачем хоть что-нибудь достается не ей, а другим!.. Глаза завидующие!.. А главное, что за низость? Какое право имеет она восстанавливать вас против Полины Кондратьевны? Ну против меня, – я понимаю: меня она всегда ненавидела, потому что я ее вижу насквозь и не раз выводила на свежую воду разные ее подлые штучки, – но против Полины Кондратьевны? Это гадко, это черная неблагодарность... это – предательство!

Слушая эти патетические причитания, произносимые самым благородным и горьким тоном (Адель действительно рассвирепела на Ольгу очень искренно), – Маша тоже вознегодовала. Отношения между двумя подругами были, таким образом, что называется, подсажены. Когда в тот же вечер приехала к Рюлиной Ольга, Полина Кондратьевна пригласила ее к себе в спальню для объяснений. Разговор был очень недолгий, но, должно быть, слишком выразительный. Ольга вышла от крестной с глазами, распухшими от слез, а щеки ее горели румянцем, как огонь.

Домой Ольга и Маша, по обыкновению, ехали вместе. Маша дулась на коварную подругу и молчала всю дорогу. А Ольга обмолвилась только одною фразою:

– Ты, Марья, такая дура, что больше я ничего тебе советовать не стану. Бог с тобой. Из-за тебя сама в беду попадешь.

---

<sup>14</sup> Корнич, 29. Cutrera, 37–39.

– И очень рада, – сухо отрезала Маша. – Никогда в твоих советах не нуждалась.

## Х

Машу часто оставляли ночевать у Полины Кондратьевны, и она любила оставаться. Бывало очень весело. Обыкновенно ночевала за компанию и Жозя. Адель укладывала подруг в своей комнате, приходила вальяжная и фамильярная Люция, и молодое общество трещало, как певчая стая, до белого света, причем Жозя, по обыкновению, сыпала анекдотами, стихами, амурными воспоминаниями; Адель ее подстрекала и ей подпевала, и так – покуда всех не сморит сном...

Путру – ванна. Молодой визг, резвые шутки, хохот, шалости... Ванна у Полины Кондратьевны была устроена на диво, последнее слово гигиены, даже с приспособлениями в комнате для домашней гимнастики.

– Mesdames<sup>15</sup>, – предлагает Жозя. – Давайте представлять статуи...

– Живые картины!

– Нет, – хохочет Адель. – Лучше, как в цирке, составим пирамиду. Люлю, Жозя, становитесь, а Люська – к вам на плечи...

Шалили опять-таки потихоньку: Боже сохрани, чтобы не услышала Полина Кондратьевна!.. А Адель, бывало, смотрит-смотрит на разыгравшихся подруг...

– Фу, – скажет, – какие вы, негодные, все красивые!.. Загляденье!.. Подождите... Стойте так, останьтесь: я вас сниму... уж очень хорошо!..

Она усердно занималась фотографией и имела превосходный аппарат, с цейссовым объективом. Чуть не по целым дням щелкала машинкою. С Маши, как новенькой в доме, нащелкала особенно много негативов, – в том числе немалое количество «живых картин» в ванной комнате.

Однажды с Машею приключилось у Рюлиной довольно странное происшествие. Села она в ванну, и вдруг закружилась у нее голова, и она сразу потеряла сознание. Слышала, как сквозь сон, что ее как будто куда-то несут. Очнулась – в ванной же, на диванчике. Жозя, Адель, Люция хохочут около, дают ей нюхать спирт.

– Она, как ты нас напугала! Мы думали, ты умерла...

– Долго я была без чувств?

– С четверть часа.

– А зачем вы меня куда-то носили?

– Что вы бредите, Люлю! – удивилась Адель, – только и было, что перенесли вас из ванны на диван...

– Никуда вас не носили, барышня, – подтверждает и Люция. – Это вам показалось в обмороке...

Но глаза у всех трех были лживые... Посмотрела Маша на часы: половина двенадцатого. А она хорошо помнила, что села в ванну в пять минут одиннадцатого. Стало быть, обморок ее продолжался не четверть часа, а час с лишком.

– Зачем вы меня обманываете? – рассердилась Маша. Жозя покраснела и говорит:

– Мы боялись, чтобы ты не испугалась, что у тебя был такой долгий обморок.

– Знаете, Люлю, – поддакивает Адель, – это не хорошо, вы обратите внимание, вам лечиться надо...

Тем дело и кончилось. У Маши поболела дня два голова, и затем все прошло и забылось. Когда Лусьева рассказала про свой обморок Ольге Бру-саковой, та ужасно взволновалась.

– Обморок, в ванне? Отчего?

– Сама не знаю, раньше никогда не бывало.

---

<sup>15</sup> Дамы, сударыни (*фр.*).

– Ты перед тем ела что-нибудь? пила?

– Чай с вареньем пила, в постели...

– Ага! – с каким-то злорадным отчаянием промычала Ольга.

И принялась уговаривать Машу:

– Слушай, Марья Ивановна, такими внезапными обмороками не шутят. Так начинается острое малокровие, это опасно... Я по себе знаю. Я в твои же годы от обмороков этих чуть на тот свет не отправилась. Искренний мой тебе совет: посоветуйся с женщиною-врачом...

Маша была жизнелюбива, за здоровье боялась, – струсила.

– Да я с радостью бы, но у меня нет знакомой.

– Я тебя отвезу, у меня есть... Анна Евграфовна, старая приятельница...

– Отлично, поедem.

Женщина-врач, после долгой и внимательной консультации, признала Машу совершенно здоровою и в порядке. Ольга после приема переговорила с нею еще раз наедине. Та повторила свой прежний диагноз. Ольга осталась в большом удивлении: «Странно... – размышляла она, трясась рядом с Машею на плохом извозчике. – Зачем же они в таком случае опоили ее?»<sup>16</sup> Какую подлость еще мастерят? Очень странно...»

---

<sup>16</sup> Генне-Ам-Рин, 117.



## XI

Быстро летело время. Маша все глубже и глубже входила в рюлинский дом и его быт. Рюлинские нравы все крепче и крепче впивались в Машу, все острее и острее ее заражали. Перерождение девушки из скромной, мелкобуржуазной куколки в бойкую и вертлявую бабочку, – она думала, что большого света, в действительности – демимонда, совершалось последовательно и неуклонно. Почти каждое гостеванье у Полины Кондратьевны приносило Маше новые знакомства – все больше мужские и с такими громкими именами, что старик Лусьев, слыша их от дочери, уже и не знал, восторгаться ему или трепетать: привел же Бог Маше вращаться в таком избранном кругу! И благословлял благодетельницу Полину Кондратьевну, которой он, конечно, был представлен и очень ею обласкан, но ограничился единственным к ней визитом: куца, мол, мне, маленькому человеку, садиться в такие большие сани – с посконным рылом да в суконный ряд! Препирательства с дочерью о женихе-столоначальнике прекратились: у старика теперь тоже не те мечты зашумели в голове. В обществе генеральши Рюлиной – чем черт не шутит? Полина Кондратьевна в Машу – ну просто влюблена! Захочет ее превосходительство сделать счастье девушки, – то и высватает ее за какого-нибудь эдакого с золотым эксельбантом... Вон ведь там князья да графы, как шмели, толкуются... Маша говорит: даже великие князья бывают... шутка ли! великие князья!..

Упованиями своими старый Лусьев усердно делился, по близкому соседству, с матерью Ольги Брусаковой, дамою молчаливою и слушательницею охотною, но несколько странною. Внимая старику, она не разуверяла его в надеждах, не поощряла их, а только в конце непременно советовала – не распространяться много о Машинем фаворе у Рюлиной при посторонних, особенно при сослуживцах. А то, мол, по зависти, подстроят какую-нибудь пакость, так что все ваши планы-проекты разлетятся прахом... Пессимистические предостережения эти старик находил разумными и принимал их к сведению и исполнению, – молчал.

Великих князей Маша видела, покуда только в посулах Адели, но раза два или три Полина Кондратьевна допустила Машу на свои интимные вечерки для друзей, на которых бывали только мужчины, – всегда понемногу, трое-четверо, все старички, притом истые тузы. Вечерки эти проходили опять-таки очень благопристойно, только тон старческой французской *causerie*<sup>17</sup> держался невозможно скабресный. К удивлению Маши, Полина Кондратьевна, вопреки своему обычному показному пуризму, выслушивала сквернословие дряхлых гаменов с весьма благосклонною готовностью и зачастую даже сама давала им толчок к «милым мерзостям», как выражался один из ее именитых гостей, крупный биржевик и предприниматель на все руки, Илья Николаевич Сморчевский. Еще казалось Маше странным, что в свои вечерки Рюлина ни за что не позволяла ей заночевывать и довольно рано отправляла ее домой, словно скрывая от нее какие-то домашние таинства, которые должны начаться после ее ухода. Маша спросила Ольгу Брусакову.

– Очень натурально, – возразила та, безразлично пожимая плечами. – Конечно, мы, молодые, не к месту и только мешаем старичью. Ведь у них там чуть не восемнадцатый век *ancien régime*<sup>18</sup>. Отставные Ловеласы в подагре и среди них крестная в роли седой Клариссы.

– Я так полагаю, – язвила по тому же поводу Адель, – что старушка наша просто ревнует нас, молодежь, к своим селадонам... каждому в субботу сто лет! Ах, ведь сердце не камень! Я прекрасно знаю, что граф Иринский в 1859 году предлагал Полине Кондратьевне свою сиятельную руку и сердце, и в 189\* он, коварный изменник, мне глазки строит: полагайтесь после

<sup>17</sup> Непринужденная беседа, болтовня (*фр.*).

<sup>18</sup> Старый порядок (*фр.*); отживший, устарелый уклад быта.

этого на мужчин! Какой женщине приятно видеть, что старый поклонник гуляет на сторону? Полина Кондратьевна оберегает своих юношей от нашего легкомыслия и прекрасно делает.

И действительно, Адель едва-едва показывалась на вечерки, Жозю и Ольгу Маша на них тоже ни разу не встретила. Кстати сказать, – когда Лусьева, неудовлетворенная ответами Ольги и Адели, стала расспрашивать о рюлинских вечерках Жозю и Люцию, то первая фыркнула и, захлебываясь смехом, убежала от нее в другую комнату, а степенная Люция, хотя тоже смеясь, сказала нравоучительно:

– Много будете, барышня, знать, – скоро состаритесь. Всему свой черед. Придет ваше время, и вы попируете...

А что пировали на вечеринках сильно, было несомненно. После каждого сборища запах вина и сигар долго не исчезал из нарядных комнат Полины Кондратьевны, до спальни включительно, не поддаваясь курениям, лесной воде и усиленной вентиляции...

Должать Маша окончательно перестала опасаться, потому что в самом деле было очевидно, что Ремешко не сегодня-завтра будет просить ее руки. Он влюбленную тенью ходил за Машею по пятам, подносил ей конфеты, букеты, доставал дорогие билеты в театры, экипажи для прогулок, глядел в глаза, ловил желания и выражал всем лицом и всею фигурой: «Прикажи, – и я твой, и овцы мои твои, и собаки, и пастухи, и страусы».

Ибо, ко всем великолепным слухам о богатствах Ремешки, прибавилась еще легенда, будто в его необозримых полях производятся опыты работ над верблюдами, ламами и страусами – в первый раз в Европе.

– Правда, что у вас в имении на страусах воду возят? – спрашивала его Адель.

Ремешко скромно улыбался.

– Да ведь что такое страус? Только что слово громкое... А то – как журавль или аист... Ну, конечно, ростом вышел... Но все-таки, – кто привык, ничего особенного: птица...

Миллионер давно уже познакомился с отцом Маши, совсем его очаровал, пообещал стипендию брату ее, как скоро тот кончит гимназию, – словом, жениховствовал, сколько умел, – только вот все запинался с предложением.

– Робок, – извиняла его г-жа Рюлина, – застенчив очень. Что же? Тем лучше для вас, Люлечка. Скромность в женихе не порок. Между нынешнею молодежью такие смирные – редкость. Из него, деточка моя, золотой муж выйдет... Да и куда вам спешить? Вы молоденькая. Что уж так прытко – едва из коротенького платица и сейчас же в мамаша? Надо поглядеть на свет и людей, повеселиться, перебеситься, как говорят мужчины... Ведь вы в него не влюблены?

– Н-н-н-нет... не очень...

– А если не очень, так и потерпите, пока будет очень... Нехорошо быть разборчивою невестой, но выскакивать замуж за первого жениха, который навернулся навстречу... знаете, – оно мескинно как-то... Может быть, он и не судьба ваша, может быть, Бог вам еще лучше счастье готовит... *Les mariages se font aux cieux!*<sup>19</sup> Живите, Люлечка, веселитесь, пользуйтесь жизнью, пока вы такой резвый, маленький котенок. А он у вас всегда останется в запасе... Я уж вижу: у него это очень серьезно, он от вас никогда не откажется...

– Ну, Полина Кондратьевна, – протестовала Адель, – философия ваша прекрасна, но, воля ваша, если он думает еще долго мямлить, я его возьму за ушки, насильно приведу к Люлюше и на коленки поставлю!.. Мне его влюбленные глаза опостытели... Миллионер, а тряпка какая!.. Это на нервы действует...

– Ага, кажется, мы завидуем? – поддразнивала Рюлина.

– Еще бы не завидовать: сорок тысяч собак!.. И еще овчарок!.. Обожаю овчарок!.. Мохнатые!..

---

<sup>19</sup> Браки устраиваются на небесах!.. (фр.).

Маша обещала:

– Я вам, Адель, половину подарю.

## XII

Подруги – Адель, Жозя, Маша, иногда Ольга – много выезжали вместе по вечерам.

– Вы куда сегодня? – спросит Рюлина.

Адель чуть заметно подмигнет Маше и отвечает спокойно:

– В консерваторию. «Демон» идет, с Баттистини... Ремешко привез ложу.

– А, – одобряет старуха, – в консерваторию – это прекрасно. Туда совершенно прилично и одним... А то эти «Аквариумы», «Фарсы», «Неметти»... Фи!.. Не понимаю, как туда ездят порядочные женщины?.. А Баттистини поет «Демона» очаровательно, я знаю, стоит послушать... Поезжайте, поезжайте, насладитесь... Только, ради Бога, мои девочки, не волнуйте меня: после спектакля прямо домой...

– Конечно, домой, Полина Кондратьевна. Куда же еще?

Рюлина лукаво прищурилась, как старый кот, и грозила пальцем:

– Знаю я вас, плутовки, знаю! Вы думаете, что если старуха в постели с одиннадцати часов, то ничего уже и не замечает? В котором часу вернулись третьего дня, негодные? А? Светало уже. Я слышала, знаю...

– Ну, Полина Кондратьевна, – шутливо извинялась Адель, – один раз не в счет. Совсем исключительный случай. Если бы один Ремешко звал, мы ни за что не поехали бы, а тут и Сморчевский, и Фоббель, и инженер этот, поклонник Жози... неловко было отказаться: все просят. Сморчевский на колени встал, всех надо обидеть... Ну нечего делать, позволили себя уговорить, поехали на полчаса к «Медведю», да и – вот...

Она комически развела руками.

– Уж очень развеселились там, у «Медведя», не заметили, как пробежала ночь...

– Если со Сморчевским и Фоббелем, это ничего, – примирялась старуха. – Они свои люди, почтенные. Сморчевского я с детства знаю...

Выбравшись из дома, подруги хохотали...

– Держи карман! Очень нам нужны твоя консерватория и Баттистини! Не слыхали скуки?

И ехали в «Фарс». Там их окружало огромное знакомство: золотая молодежь и действительные статские папильоны, львы, онагры, мышинные жеребчики, бритые актеры, модные журналисты в воротничках à la Rostand и блистательное офицерство. Ложа с тремя-четырьмя красивыми головками привлекала всеобщее внимание.

– Кто такие? – услышала однажды Маша вопрос в фойе и ответ – каким-то, как показалось ей, и завистливым, и вместе презрительным тоном.

– Рюлинские...

– Ага!.. Это известная «генеральша»?

– Ну да...

– Эффектные штучки! Познакомиться бы?

– Ну, брат, это – с посконным рылом в калашный ряд. Тут, сотнями и тысячами пахнет...

Маша передала слышанный разговор Адели.

– Очень просто, – невозмутимо объяснила та, – эти господа принимают нас за кокоток...

Очень лестно: доказывает, что мы хорошо одеваемся... Вы говорите, – они сказали: «Пахнет сотнями и тысячами?..» Ну вот и поздравляю: теперь мы, по крайней мере, знаем, сколько стоим, если нам случится сделаться кокотками...

Некоторое недоумение Маши: почему же эти господа приняли ее, Жозю и Адель за кокоток, раз им известно, что дамы – «рюлинские», – Адель умела ловко замять и заговорить так, что оно уже и не всплывало наверх...

Почти после каждого спектакля знакомые увлекали подруг ужинать к Кюба или «Медведю» либо мчали их на тройках к Эрнесту и Фелисьену.

– Черт знает что за жизнь мы ведем, – зевала на другой день часу во втором дня, в постели, усталая Адель. – Право, даже уж и неестественно как-то стало – засыпать без шампанского и не слыхав румынского оркестра<sup>20</sup>.

Первый ужин и тон, который господствовал за столом, очень смутил было Машу. Как ни «развила» ее Жозя, как ни испортили душу ее безделие и пустословие рюлинского дома, но когда сальные намеки, распушенный флирт, грязные анекдоты, жесты, нелепейшие шансонетки, самый наглый канкан – все, что до сих пор говорилось и проделывалось наедине между подругами, интимно, запретной шалости ради, – когда все это пришлось увидеть и услышать как нечто самое заурядное и общепринятое в кружке смешанном, в разговоре и обращении «порядочных» мужчин, Люлю растерялась и не сумела сразу попасть в тон. И когда старый, наглый, гнусавый каботин Сморчевский, друг и покровитель невских кокоток в трех поколениях, сообщил Лусьевой на argot<sup>21</sup> парижских бульваров каламбур, от которого стошнило бы и сутенера, – Маша страшно оскорбилась, расплакалась и, оставив французские тонкости, обругала нахала на простейшем и тончайшем русском языке «свиньей». На что забубённый старичина нимало не обиделся, а, наоборот, пришел в самый дикий и глупый восторг.

– Dame! Quelle verve! Hein! En voilà un tempérament!.. А? И каким контрастьто! Какая сочность!.. «Свинья-а-а-а»... Avez vous entendu, messieurs: она тянет!.. «Свинья-а-а!»... Поет... Une chanson de Wolga!.. Дичок... Чернозем... «Свинья-а-а-а»... C'est pour la première fois que j'entends, чтобы ругались так красиво... Bast! En ce cas je me fais nationaliste! Ну, m'selle Loulou! Ну, милая! Allons donc, ma chère! Allons donc! Encore un petit «свинья»! Je vous supplie...<sup>22</sup> Я вас умоляю, еще только один раз: свинья-а-а!

Все смеялись за столом, а Жозя, на которую сосед ее, бородастый и усатый, из опасной породы серьезных и молчаливых развратников, швед Фоббель, надел рогатую тиару, свернутую из салфетки, кричала через стол:

– Не ругай его даром, Люлю! Если нравится, пусть за каждую «свинью» платит по большому золотому!

– В пользу моих бедных!

И Адель, взяв со стола тарелочку из-под фруктов, кокетливо протянула ее Сморчевскому.

– Ах, с удовольствием... – заторопился тот. – Когда я доволен, мне не страшна никакая контрибуция... Сделайте одолжение, вот... Eh bien: c'est payé. Allons donc, Loulou! J'attends mes dix beaux cochons de Wolga...<sup>23</sup> Пожалуйста порцию «свиньи» – на сто рублей!..

И он даже жмурился, предвкушая. Маше стало уже и смешно.

– А одиннадцатую и двенадцатую я вам так и быть, говорю даром... – скокетничала она так ухарски, что Жозя зааплодировала с своего конца стола.

Но назавтра и она, и Адель дружно напали на Машу за ее обидчивость.

– Стыдитесь, Люлю, милая. Нельзя, душечка, держать себя недотрогой. Вы ведете себя comme une oie blanche<sup>24</sup>. Времена, когда это нравилось мужчинам, прошли безвозвратно. C'est du moyen âge<sup>25</sup>. Нынешняя девушка должна все понимать, ко всему быть готовою, на все уметь ответить... В моде демивьержки, а не Агнессы и белые гусыни...<sup>26</sup>

<sup>20</sup> Ср. Корнич, 35. Роль ресторана в тайной проституции». – Канкарович, 92–95.

<sup>21</sup> Арго (*фр.*); ненормативная лексика.

<sup>22</sup> Господа! Черт побери! Какой пыл! А? Вот вам и темперамент!.. Вы слышали, господа... Песня с Волги. Первый раз слышу... Баста! Становлюсь националистом! Ну, мадемуазель Люлю!.. Пожалуйста, дорогая! Ну, пожалуйста! Еще одну маленькую «свинку»! Я вас умоляю... (*фр.*).

<sup>23</sup> Прекрасно: это оплачено. Послушайте, Люлю! Я дожидаюсь десятка прекрасных свинок с Волги... (*фр.*).

<sup>24</sup> Как простушка; наивная и невинная девушка (*фр.*).

<sup>25</sup> Это от Средних веков (*фр.*).

<sup>26</sup> Школа распущенности и шик ее: Кузнецов, 26.

– Но, право, стыдно, mesdames!.. Этот Сморчевский так скверно врет, что я не могу, уши вянут...

– Да вам-то что? Ведь он врет, а не вы!.. Пусть врет. Разве вы слиняете от его слов? Если бы он позволил себе по отношению к вам что-нибудь нехорошее, – ну тогда еще я понимаю... Я сама терпеть не могу, когда этакий мухомор вдруг вздумает давать волю рукам и лезть целоваться... Но – слова? что вам слова?

Адель с недоумением и даже как бы не без негодования воздымала плечи к ушам. Жозя скалила зубы:

– Оставьте старцу слова его... В возрасте Сморчевского, – знаете? – *moralement on est physique, mais physiquement on est moral*...<sup>27</sup>

И завертелась мельница, пошла писать губерния, посыпались двусмысленности, дрянные анекдоты о разнице между словами и делом...

– Право же, он не дурной человек, наш бедный Сморчевский, – заступалась Адель. – Очень добрый, с большим тактом. Хотя бы и вчера: вы наговорили ему дерзостей, а он премило обратил все в шутку и еще пожертвовал для моих бедных десять золотых. *C'est un vrai gentilhomme*<sup>28</sup>, это надо ценить. Нет, Люлю, вы его не обижайте: увидите, что когда-нибудь он очень и очень вам пригодится... Да и Полина Кондратьевна его уважает и не будет довольна, что вы с ним так резко... Она ему тоже все позволяет... Это старый друг дома, приятель еще покойного генерала.

– Да мне теперь уже и самой совестно, что не сдержалась, обидела его.

А Жозя хлопала Машу по спине.

– Ничего! Это она у нас по молодости и глупости! Утенок учится плавать. Дайте Люлю-печке срок: стерпится – слюбится...

И действительно, стерпелось и слюбилось. Ужина три оттерпев, Маша усвоила их каботинный тон в совершенстве. Пустит ей Сморчевский грязную острогу, она, не сморгнув, ответит вдвое круче; либо, если, сконфузившись, не найдется, что ответить, – посмотрит на старого сатира мутным, глупым, ничего не говорящим, но как будто веселым взглядом, которому выучилась у Жози.

– Oh-là-là!..

Или:

– *Et patati, et patata!*..<sup>29</sup>

И захохочет. Бессмысленны восклицания, бессмысленны глаза, бессмыслен хохот, но это метод, – политичный исход из щекотливого положения.

– Так, душечка, и кокотки, – поучала Жозя. – То ли им, бедняжкам, случается терпеть от мужчин? А они все смеются. Надо трещать и смеяться, смеяться и трещать. А слушать и думать как можно меньше, и все, что мужчины соврут уже очень подло, пропускать мимо ушей... И тогда всем очень приятно и весело. По-моему, женщина, которая все замечает и обижается словами, не имеет такта, не умеет себя вести. Она не на высоте своего положения, душечка. Женщина для общества должна быть вся восторг. Надо, чтобы – розы и весело!.. смеяться и трещать!..

На одном из ужинов появилась и Ольга Брусакова.

От присутствия Маши ей было сначала заметно не по себе: она хмурилась, смотрела на тарелку и едва отвечала Фоббелю, который за нею ухаживал. Но Адель вызвала ее на минутку в уборную, и Ольга возвратилась преображенная: столь разбитная и веселая, столь «смеяся и треща», что за нею померкла даже неунывающая Жозя.

---

<sup>27</sup> Духовно они телесны, но телесно – духовны (*фр.*).

<sup>28</sup> Он настоящий аристократ (*фр.*).

<sup>29</sup> И так далее, и тому подобное!.. (*фр.*).

– Наконец-то я узнаю нашу милую Эвелину!.. – гнусил Сморчевский. – А что вы делали там в уборной? Отчего такая перемена? Сафо объяснялась в любви Фрине, или получили подарок в десять тысяч?

Ольга думала: «Переменишься, когда Аделька грозит жаловаться старой стерве, чтобы та надавала мне плюх...» Но говорила, кривляясь:

– J'ai eu mal au ventre! C'est passé – et me voilà! Connu? Oh-là-là! Va-t'en, gros pignouffe!<sup>30</sup>

– Так вот ты какая!.. Не ожидала... Прелесть, лучше всех!.. – с веселым удивлением говорила Ольге Маша в уборной же, собираясь уже к отъезду с пиршества. – Вот ты умеешь быть какая!

Ольга красная, как кумач, с мутными, безумными глазами, поправляла перед зеркалом спутанную прическу, пошатывалась, приседала и хохотала:

– Да, я такая... А ты думала, – что? Ха-ха-ха!.. Есть о чем тужьш!.. Дряни!.. Да!.. И Аделька дрянь, и все!.. И я дрянь!..

– Тише ты! Какие слова? Разве можно?

– Не желаю тише. Имею право, чтобы громко. Кричи во всю! Ругай! Бей! Ничего не будет! Это ничего... Сделай твое одолжение! Еще деньги заплатят.

– Ты уж очень много шампанского выпила.

– Еще бы с поганцами трезвою сидеть!.. А Адельке я покажу, как меня в морду...

– Оля!.. Бог с тобою! Что ты говоришь?

Ольга опомнилась, посмотрела на Машу пьяными, мрачными глазами, оправилась и спустила тон.

– И то... эх меня разобрало!.. – с усилием засмеялась она. – Невесть что плету... Фу-у-у!.. Налей мне воды, пожалуйста.

– Надеюсь, ты с нами, к Полине Кондратьевне? – спросила встревоженная Маша.

Ольга отрицательно замотала головою.

– Ой, Оля, – встрепелась Маша, – ой, голубчик, поедем лучше с нами! Уж мы тебя как-нибудь спрячем от крестной. А домой как ты покажешься такая? Всех перепугаешь... Не надо, Олечка!..

– Фю-ю-ю-ють!.. – засвистала Ольга. – «Иде домув мой?» – слыхала, хоры поют? Когда еще я попаду домой-то?! Меня Фоббель проветривать везет... За Лахту, в охотничий домик... чай пить... у! Ненавижу! Кровь мою выпьет, швед проклятый!.. Ну да ладно! погоди!..

И вдруг насупилась.

– А Ольгою называть меня здесь не смей... Я для кабака Эвелина, а не Ольга... Ольга, Марья – это мы дома. А Эвелинка, Люлюшка – для кабака...

---

<sup>30</sup> У меня болел живот! Прошел – и вот здесь! Ясно? О-ля-ля! Пошел вон, наглец! (*фр.*).

## ХІІІ

Как-то раз Маша прихворнула на несколько дней и, смертельно скучая, должна была отсидеть их в полном одиночестве. Даже Ремешко не заезжал, потому что его не было в Петербурге: он отправился по делам в Москву. Прибыв по выздоровлении к Полине Кондратьевне, Маша еще на подъезде, по перекошенному лицу красивой Люции, которая вышла на ее звонок, заметила, что в доме неладно.

– Не приним... – начала было Люция, но, узнав Машу, улыбнулась и махнула рукою. – Ох, это вы, барышня! Вот до чего замоталась: своих не узнаю. Пожалуйте. Вам-то можно. А то никого не принимают – ни сама, ни Адель Григорьевна...

– Что случилось? – испугалась Маша.

– Сама больна... Третьи сутки... Сегодня с утра пятую истерику закатывает. Швейцар за доктором Кранцем в карете услан... Такая тамаша идет третий день, что не дай Бог лихому татарину...

И, наклонясь к уху барышни, горничная прошептала:

– На бирже пробухалась. Сормовские подкузьмили.

Адель, сидевшая в своей комнате за письменным столом, мрачная, бледная, злая, обернулась на Машу тигрицею какою-то разъяренной, но, узнав ее, смягчила взгляд.

– А, Люлю! Поправилась? Слава Богу, очень кстати. А то я одна просто с ног сбилась. Слышали, старушка-то наша отличилась? Чтoб ее черт побрал, не говоря худого слова!.. На сорок одну тысячу! Можете себе вообразить?

Маша не могла вообразить. Про такие суммы она только в романах читала.

– Главное, что досадно, – желчно продолжала Адель, роясь в бумагах на столе, – что досадно... Если ты хочешь крупно играть, то умей владеть собою. А то извольте радоваться: хлопнулась в обморок в банкирской конторе!.. ну и скандал на весь Петербург! Сейчас же закричали: Рюлина разорилась, Рюлина банкрот! А ничего подобного. Она не сорок одну тысячу, а четыреста десять тысяч в состоянии потерять, и все-таки у нее останутся прекрасные средства на дожитие... Да!.. Конечно, если не хлынут потопом вот этикие бумажки.

Адель бросила Маше голубой листок, в котором m-me Judith вежливо и сухо просила m-me Рюлину как можно скорее очистить счет по ее магазину.

– Понимаете? Мерзавка какая! Часа не прошло после этого глупого обморока, как мы уже получили эту прелесть... Я всегда говорила и говорю, что Петербург по сплетням хуже всякого захолюстья... Часа не прошло, а уже всюду молва, что разорилась, и счет!.. И вот еще!.. вот еще...

Адель нервно подавала Маше счет за счетом.

– Денежные катастрофы поражают людей, как молнии. Вы не успели опомниться, как кредит ваш – уже на дне пропасти...

Маша видела на счетах фирмы знакомых магазинов, где она должна, и сердце ее сжалось.

– Что же теперь делать? – пролепетала она. Адель злобно мотнула головою.

– Надо платить. Но – чем, вот вопрос... не знаю!.. Не предвижу никаких поступлений. У нас до ста тысяч в долгах, и никто не платит... Я не про вас говорю, – резко бросила она в ответ на робкое движение вспыхнувшей Маши. – Что ваш долг? Капля в море. Заплатите вы, не заплатите, – нам от того ни лучше, ни хуже не будет. Да и с какой стати вам платить свои гроши, когда другие так бессовестны – не платят десятки тысяч? За что вам быть святее остальных?

Тон Адели – даже не укоризненный, а какой-то необычайно свысока пренебрежительный, точно и в Маше, и в долге ее видела невесть какую ребяческую, даже недостойную разговора, мелюзгу, – больно уколол Лусьеву. А Адель, сердито усмехаясь, подавала жару:



– Вот тоже Жозька... сумасшедшая... Можете себе представить? Как услышала про нашу беду, сейчас же бросилась в ломбард, вся заложились, осталась в одном платье... Пятьсот тридцать рублей принесла... Ну, спрашивается, на что нам ее пятьсот тридцать рублей? Конечно, благородно... Я всегда знала и утверждала, что другой такой души, как Жозя, не найти днем с огнем... Но – какая польза? к чему?

– Нет, Адель, – твердо возразила Маша. – Нет, это она прекрасно поступила, как должно... Всем нам надо так. Я уверена, Адель, что и вы сделали то же... что-нибудь очень хорошее.

Адель нахмурилась.

– Я... что обо мне?! Если я не постараюсь для Полины Кондратьевны, то кому же? Мы с Люцией без башмаков останемся, а старухи своей не выдадим. Довольно предательниц и без нас...

Когда Маша уходила от Адели, Петербург для нее делился рюлинским домом на две резко распределенные половины: на белых агнцев, которые стараются всеми своими средствами и силами помочь бедной Полине Кондратьевне, как Адель, Жозя и Люция, и на смрадных козлиц, ничего не сделавших и не желающих сделать для своей благотельницы, как (покуда) она, Маша, и, быть может, «вечная эгоистка» – Ольга Брусакова. Сделав визит к последнему козлищу, Маша, действительно, нашла его возмутительно равнодушным к злополучию Полины Кондратьевны, от чего и пришла в величайшее негодование. Само собою разумеется, что Лусьева последовала великодушному примеру Жози и немедленно заложились в ломбарде тоже до последней нитки. Вырученные сто восемьдесят четыре рубля – жалкие крохи – она принесла к Адели со слезами на глазах, понимая ничтожность своего даяния.

– Вот... все, что выручила... больше не дают... – сказала она и горько заплакала.

Адель нетерпеливо отмахнулась от нее.

– Я говорила вам, Люлю, что это лишнее, возразила она довольно сухо. – Во всяком случае *merci*<sup>31</sup>. Но самое лучшее и умное, что вы можете сделать, – возьмите эти деньги, займите у меня еще немного, сколько там следует, на проценты за полмесяца, как это водится, и выкупите ваши вещи обратно. Молодой девушке нельзя без этого, а сто восемьдесят четыре рубля все равно, честное же слово даю вам, нам не в помощь!.. Сами посудите: у одной Judith ваш долг на тысячу семьсот шестьдесят восемь рублей...

– Что?.. Ах!

Маша в ужасе схватилась за голову. Адель сделала гримасу: «А ты, мол, легкомысленная дармоедка как полагала?» – и продолжала:

– Да. Почти две тысячи одной Judith. А Maurice? А Alexandre? А ювелир Карпушников? Что же тут сто восемьдесят четыре рубля? По пятаку за рубль...<sup>32</sup>

Маша рыдала.

– Вы убили меня, Адель! Я просто не знаю, как теперь глядеть вам в глаза... Я так несчастна, чувствую себя такою жалкою, неблагодарною... Но что же я могу сделать? Ничего, ничего, ничего...

– Ну, это – положим... – пробормотала Адель, устремляя на нее загадочный, предлагающий взгляд. – Сделать-то вы можете много, только захотите ли...

– Что? что? Скажите мне, – обрадовалась Лусьева, – я все, что велите...

– Нет уж, велеть я вам ничего не буду, – не то обидчиво, не то презрительно возразила Адель. – Я совсем не желаю предъявлять к вам требования, чтобы вы потом имели повод хоть в чем-нибудь упрекать нас с Полиною Кондратьевною. Всякое требование с моей стороны сейчас

---

<sup>31</sup> Спасибо (*фр.*).

<sup>32</sup> Искусственная фабрикация долгов. Елистратов, 18. Кузнецов, 186. Cutrera, 37–39.

было бы нравственным насилием... Нет уж! Если хотите, ищите и догадывайтесь сами!.. Вон – Жозя догадалась... Она мне три тысячи принесла...

– Три тысячи? Да кто же ей дал?

– А уж это вы ее спросите, ее дело...

## XIV

Маша бросилась к Жозе, в ее грязноватые меблированные комнаты, где она, как первая жилища, царила, окруженная чрезвычайным уважением прислуги и обожанием холостых жильцов. Застала Жозю Лусьева за пианино, довольно скверным и разбитым.

– Ах, душка! – воскликнула веселая особа, не отрываясь от клавишей, выпевавших фальшиво и не без запинок «Бурю на Волге»: как все женщины мажорного характера в жизни, Жозя любила в музыке мрачный и сентиментальный минор. – Ах, душка, нет ничего легче и проще!.. Я удивляюсь, почему Адель ломается, ничего вам не сказала... Вы не три, а пять, семь, десять тысяч можете достать... Пустяки!.. Вам стоит сказать одно слово... Маша покраснела.

– Вы, может быть, намекаете, Жозя, чтобы я попросила займы у Ремешко? но это так совестно, да его сейчас и нет в городе.

Жозя перестала играть и круто повернулась к Лусьевой на табурете.

– Ремешко?.. – воскликнула она, округляя голубые глаза. – Да что же это? Вы словно с луны свалились, душечка!.. Разве Адель и про Ремешку вам ничего не сказала?

– Нет...

Жозя всплеснула руками.

– Ну она чудачиха, совсем чудачиха!.. Ремешку, душечка, у Полины Кондратьевны не велено принимать.

– Почему? – бледная, едва выговорила Маша.

– Ах, душка! – затараторила, махая руками перед своим лицом, проворная Жозя, вы и вообразить себе не можете, какой он оказался ужасный мерзавец! Видите ли: все обнаружилось. И он, хотя Ремешко, совсем не Ремешко, то есть не Ремешко, у которого собаки; а Ремешко, у которого собаки, жаловался полиции, что Ремешко называет себя Ремешко, а у Ремешки, душка, собак нет, и ничего нет, и он мещанин из Либавы, и кроме того арап.

– Жозя, Бог с вами!.. что вы?.. что вы?..

Но Жозя махала руками и мчалась вперед, как Иматра.

– Арап, душка, арап!.. По всем клубам известен!.. арап!

– Да он же белый, Жозя!.. помилосердуйте!

Жозя только досадливо отряхнулась, точно собака, на которую брызнули водой.

– Ах, душка, я совсем не о том арапе, который черный! Он – в высшем смысле арап. Арап – это называется человек, который, когда в клубах идет игра, примазывается к крупным игрокам. Увидит, кто ставит большие куши, и пристанет к нему, будто бы в долю. Если тот выиграл арап сейчас же тут как тут: позвольте, душечка, получить, я с вами вместе играл, душечка. Ну, а когда тот, душка, проигрывает, арап прячется под стол или в какое-нибудь низкое место... пропадает, душечка, как сатана или нечистая сила!.. И полицию, душечка, уже спрашивали, и полиция говорит, что Ремешко – арап, да и арап-то не простой, а самый что ни на есть над арапами арап, и давно уже запримечен, так что многие на него жаловались и хотели его даже просить выехать из Петербурга... Да, душка!.. И бриллиант этот у него, который в галстук, тоже арапский, у Alexandre за восемь с полтиною куплен. Вот он каков господин Ремешко. Да! А мы, дуры, ему верили, вас за него замуж прочили!.. Это спасибо сказать Люции, душка, она все открыла, потому что ее сестра служит в судомойках в той самой гостинице, где этот арап проживал. Да! За арапа вас чуть-чуть не выдали, Люлечка бедная! И были бы вы теперь арапка... Да что же вы бледная такая? Люлечка... Господи, да она падает!.. Люлечка!.. Из-за арапа?! Стоит ли?.. Люлечка... Фу, глупая какая!..

## XV

Открытия о Ремешке ввергнули Марью Ивановну в обморок вовсе не по обманутым нежным чувствам к фальсифицированному магнату, но просто потому, что, покуда Жозя изъясняла ей его проделки, Лусьевой с необычайною резкостью представлялась мысль, что, стало быть, весь ее долг, сделанный в расчете на замужество за Ремешко, теперь ляжет на нее, как неотвратимая груда, быть может, на много лет жизни... Когда она пришла в себя, оттерпела хорошую истерику, выплакалась и успокоилась, Жозя заговорила о делах. Достать денег, притом в количестве какое угодно, Маше оказалось действительно очень легко: надо было только написать вексель на желаемую сумму, на имя Полины Кондратьевны Рюлиной, и подписать этот вексель именем Машина отца, Ивана Артемьевича Лусьева.

– По какому же праву я подпишу вексель именем отца?

– Ах, душка, кто же говорит, что по праву? Нет права... Но, видите ли, душка, это не вы виноваты, что так надо, а закон такой глупый, потому что, душка, женские векселя вообще не охотно учитывают, а вы еще вовсе не имеете кредита и даже не можете выдавать векселей, потому что вы несовершеннолетняя...

– Я боюсь, Жозя... Я, конечно, ничего не понимаю в делах, но из этого, мне кажется, легко может выйти что-нибудь дурное...

– Ах, Люлечка, да что же может выйти дурного из векселя, по которому никогда не придется платить? Ведь Полина Кондратьевна его учтет, понимаете? – учтет...

– Нет, Жозя, не понимаю...

– Ах, душка, как же вы не понимаете, когда так просто, что я не знаю, как вам объяснить?! Это значит, душка, что она сvezет вексель к знакомому дисконтеру, в банкирскую контору одну, и дисконтер ей даст денег, только вычтет там сколько-то процентов, и потом вексель может лежать у дисконтера как вы хотите много времени, душка, хоть тысячу лет, только его, душка, надо часто переписывать и аккуратно платить проценты... Да! И когда, душка, проценты дисконтеру платятся аккуратно, то ни один человек на свете не может знать, что есть такой, душка, вексель, и отец ваш, душка, тоже никогда не узнает. Никак, никак ему нельзя этого узнать, душка, потому что это коммерческая тайна, кто какие пишет векселя, и если дисконтер кому-нибудь о вас откроет, то его за это в Сибирь!.. понимаете, душка?.. Нечего вам бояться, не знаю, чего вы боитесь. Я вот всегда так. Если Полина Кондратьевна велит или самой нужны деньги, а у нее занять нету, я сейчас же беру за бока своего разведенного благоверного и катаю на его векселя, – я катаю, Полина Кондратьевна учитывает... Тут нет ничего дурного, Люлечка. Что же особенного? И вы, Лусьева, душка, и отец ваш Лусьев, душка... Вы только именем пользуетесь... А что в имени? Дисконтеру – что Лусьев, что Лусьева, все равно. Дисконтер, душка, даже не спросит, что таков Лусьев, и есть ли он на свете. Ведь он не вам и не отцу вашему поверит, а Полине Кондратьевне. Это ее кредит, и только так уж заведено, душечка, форма такая глупая, что кредит-то ее, а вексель нужен на ее имя от кого-нибудь другого, чтобы были две подписи, – она поставит бланк и получит деньги... И всем очень приятно, душка, и чрезвычайно просто!

Вдохновенное лганье Жози дурманило Машу. Перспектива достать кучу денег под залог клочка бумаги и нескольких букв начала представляться ей заманчивою... Жозя говорит, что все так делают. Если все, то почему же и не попробовать?

– Только все-таки я не знаю, право... страшно как-то... сама не понимаю чего, но чего-то боюсь...

– Ах, душка, – обиделась даже Жозя, – как будто я вас уговариваю?! Никто вас не неволит, поступайте как знаете!.. Я только думала, что вы, как все мы, хотите помочь бедной Полине

Кондратьевне, которая вас так любит. Это у нас, в компании, самое обыкновенное: когда ей нужны деньги, мы все пишем для нее векселя, – и я, и Адель, и Ольга...

– Как и Ольга тоже? – живо переспросила Маша.

– Еще бы! И еще сколько! Спросите Адель: она вам покажет.

Лусьева вздохнула с облегчением.

– Ну, если уж Ольга, – хорошо, в таком случае, я согласна...

– Ишь какая, нехорошая! – ревниво попрекнула Жозя. – Ольге своей противной верит, а мне нет!..

– Да не то, Жозенька, – как вы можете думать?.. Но она такая осторожная, благоразумная... Только уж вы, Жозя, научите меня, как что надо сделать там, с векселем... Я ведь на этот счет круглая дура, ничего не знаю...

– Да вы обратитесь к Адели!.. хотите, я сегодня же ей скажу, что вы желаете?.. Она вам все устроит...

Разумеется, фантастический шестимесячный вексель, выданный в тот же самый день Марьею Ивановною Лусьевою, за подписью Ивана Артемьича Лусьева, очень изумил бы всякую банкирскую контору, в которую был бы представлен к учету, но – он никогда ни в какую банкирскую контору и не предназначался, а очень мирно и спокойно улегся в нестораемом шкафу госпожи Рюлиной, в плотный полотняный конверт большого формата, с пометкою лиловыми чернилами: «Люлю». Таких конвертов, плотно набитых какими-то бумагами, покоилось довольно много в шкафу. Были конверты Жози, Ольги, даже Люции, – всех, кроме Адели. Хотя денег по векселю Рюлина, конечно, ниоткуда не получала, тем не менее благодарность за то, что Маша «выручила», была разыграна очень трогательно, а счета из магазинов, касавшиеся Машиних заборов, были с благородством изорваны на глазах девушки. Надо ли говорить, что действительная сумма к уплате по счетам была впятеро меньше цифр, поставленных Аделью? Вместе с тем Маше дали понять, что платить проценты по векселю – конечно, входит в ее обязанность и что процентов будет довольно много, а вексель придется переписывать часто, так как кредит-де – самый трудный и краткосрочный.

## XVI

Прошло три месяца, сильно двинувших Марью Ивановну вперед по пути «просвещения». Каждый месяц вексель ее переписывался, и каждый раз надо было доставать денег для процентов – действительно, огромных, зверских процентов: сперва Адель потребовала двести рублей, во второй раз уже триста, а на третий месяц пришлось найти и все пятьсот. Минули те времена, когда у Маши Лусьевой дрожала испугом душа при одном звуке таких цифр. Теперь она знала, что рубли в сотнях – очень небольшие деньги для хорошенькой барышни, «которая не дура», и доставала их очень легко.

Стоит только поплакать да надуться на целый вечер, – Сморчевский заплатит. А не Сморчевский, так Фоббель. А не Фоббель, так Бажоев...

Изменился и тон, которым Адель спрашивала проценты. В первых двухстах рублях она извинялась, умоляла занять их, сконфуженная, уверяла, что охотно внесла бы свои, если бы стояли лучшие времена, а то все еще никак не соберется с деньгами и не оправится от недавнего разгрома. На второй месяц извинения были уже гораздо слабее.

– Прямо несчастье мне с вами, Люлю, по этому векселю: как ему срок, так у меня касса пуста... фатум какой-то!.. Уж нечего делать, попросите опять у Сморчевского... старик выручит: он вас любит...

А в третий платеж она просто уведомила – почти что приказала:

– Люлю, через четыре дня вам платить пятьсот... Старайтесь, деточка Люлюшечка, добывайте!..

И «деточка Люлюшечка» добывала: хныкала, капризничала, жаловалась на судьбу, на злых людей, плакала, уверяла, что «лучше отравиться», и «деточку Люлюшечку» спешили развеселить и утешить. А затем:

– Кажется, я заслужил поцелуй?

– Сморченька, миленький! Да хоть двадцать!

– А Люлюша споет нам «Connaissez vous l'histoire d'un vieux curé de pays»?<sup>33</sup>

– Фи, Бажоев, вам бы только гадости слушать!.. Ну да уж хорошо, спою, спою!.. для вас!.. противный!..

Раздобывала Маша такими способами деньги для «процентов» Адели, раздобывала и для себя. При всем том, – хочется человеку всегда хорошо о себе думать! – она и не воображала, что она продается, и очень бы удивилась, если бы ее укорили в том. Продаются кокотки, камелии, проститутки. Продаваться – это значит принадлежать мужчине телом за деньги, а два-три пьяных поцелуя, даже объятия, скабрезная песенка, фривольный жест... какая же тут самопродажа? Помилуйте? Что за невидаль при добрых дружеских отношениях? И, наконец, это добрая воля Сморчевского – дать или не дать денег. Чем Маша виновата, если он такой нервный и щедрый человек, что согласен лучше заплатить за хорошенькую женщину все маленькие долги ее, чем видеть ее в слезах. А когда выпадает такое счастье, глупо им не пользоваться. Маша не миллионерка, Сморчевский и прочие доброхотные датели от того не обнищают, а бедной девушке будет на что поправить свои обстоятельства и выполнить обязанности к своим друзьям.

Впивая эту мораль, Маша, тем не менее, иногда смущалась втайне своим поведением и испытывала угрызения совести. Стали проявляться у нее и кое-какие подозрения, что среда, где она увязла, не только веселящаяся, но и жуликоватая, и развратная. Рюлина и ее приспешницы еще скрывали от Маши кое-что, и даже очень многое, и даже самое главное, но уже часто проговаривались словами и попадались на фактах, совсем не согласных с первоначаль-

---

<sup>33</sup> «Известна ли вам история старого деревенского кюре»? (фр.).

ным высоким тоном, который Лусьева встретила в доме. Так, например, узнала Маша, что, столь часто поминаемый все, покойный «генерал» Полины Кондратьевны, якобы повинный в безобразных картинах ее спальни и во многих других неприличиях, никогда ни генералом, ни даже военным не был, и по паспорту госпожа Рюлина писалась вдовою губернского секретаря.

А кроме того, никто и никогда этого таинственного губернского секретаря Рюлина при великолепной супруге его не видывал, и прозябал он, и помер неведомою смертью где-то за тридевять земель, в тридесятom царстве, не то в Асхабаде, не то в Благовещенске. Само собою разумеется, что столь отдаленный губернский секретарь никак не мог быть ни сослуживцем, ни тем более боевым товарищем великого князя, любовника Жени Мюнхеновой, которым Адель хвалилась Маше в первый день знакомства. Вообще, великокняжеские сказания Адели, – права была Ольга Брусакова! – мало-помалу очень слиняли и выщвели.

Например, оказалось, что тот великий князь, герой романа Жени Мюнхеновой, не только не близкий друг дома, как уверяла Адель, но и всего-то лишь дважды, за всю жизнь свою, удостоил укрomный рюлинский особнячок высочайшим посещением инкогнито. Один раз, нена-роком, прямо с какого-то гвардейского полкового праздника, полупьяный, с компанией офицерской золотой молодежи, наговорившей ему чудес о волшебной красоте Жени Мюнхеновой, которая тогда проживала у Полины Кондратьевны на положении воспитанницы: тут-то он, действительно, и влюбился! А в другой раз – уже нарочно, чтобы увезти Женю из-под гостеприимного генеральшина крова в приобретенный для нее дом на Английской набережной.

В качестве устроительницы и посредницы сего незаконного союза генеральша содрала с его высочества какой-то едва вообразимый огромный куртаж. Так что даже сама сконфузилась и восчувствовала признательность к виновнице такого успешного грабежа. Женя Мюнхенова сделалась для нее самым любимым, поэтическим воспоминанием, почти до культа. История Жени развилась в эпопею дома, которою обязательно «просвещаются» рано или поздно все, вновь входящие к Полине Кондратьевне, дамы и барышни: вот, мол, пример для вас, поучайтесь и подражайте!

Однако, по сплетням Жози, сама-то Женя, как скоро выбралась с Сергиевской, порвала с генеральшей все сношения, ни к ней не бывала, ни ее у себя не принимала. Даже ее портрет знаменитый был вовсе не заказан генеральшею, как хвастала Адель, но попал к ней совершенно случайно.

Когда Женя, наскучив любовью великого князя, сбежала от него на манер Периколы или Бетгины из «Маскотты», покинутый любовник в неистовом бешенстве приказал убрать с глаз долой все вещи, напоминавшие ему коварную изменницу. Портрет же (к слову сказать, писанный совсем не Константином Маковским, а каким-то случайно заезжим и мало ведомым французом) – уничтожить. Камердинер князя, рассудив, что хорошая живопись денег стоит, спустил портрет за двести рублей маклерше, а та предложила его Полине Кондратьевне за тысячу и отдала за пятьсот. Так как манера француза напоминала Константина Маковского, то Адель нашла, что будет шикарно приписать картину этому последнему и, владея несколько кистью, намазала внизу портрета, в углу, довольно неясно подделанную подпись русской знаменитости... А затем сфабрикованный кумир водрузили в святилище, и вокруг него обвились легенды, столь увлекательные, что, в конце концов, им едва ли не верили и сами, их творившие.

## XVII

Прошлое Полины Кондратьевны тоже тонуло в легендах. По-видимому, она была действительно хорошего происхождения, потому что, даже сквозь налет многолетнего авантюризма, проблескивала следами прекрасного воспитания, какое давали только благородным девицам строгие институты пятидесятих годов. Она знала множество анекдотов из быта Смольного в его славную «Леонтьевскую» эпоху и, может быть, в самом деле, была заблудшею овцою из стада смольнянок.

Но далее следовали провал и мрак. Вспоминали одно: что смолodu Полина Кондратьевна существовала (и весьма шикарно) на иждивении того самого графа Иринского, который и посейчас не оставляет ее, хотя уже старуху, своими милостями. Вся великолепная обстановка рюлинских апартаментов, до скверных картин включительно, – от графа и его друзей; а в числе их, и впрямь, имеются два-три высокопоставленных лица, более известных распутством и казнокрадством, чем служебными доблестями, и некоторые великие не столько князья, сколько князьки второстепенного значения в фамилии, но первостепенно громкой скандальной репутации и в российской, и в чужеземных столицах. Граф Иринский – страшный потайной развратник, но он осторожен и не доверяет страстей своих никому, кроме Полины Кондратьевны; она, когда-то его любовница, теперь осталась его альковною поставщицею и вознаграждается за то огромными суммами. На таинственных рюлинских «вечерках» графская компания чувствует себя гораздо более дома, чем сама хозяйка, и безобразничает так, что плюнуть хочется, – потому-то Полина Кондратьевна и выживает из дома на это время лишние глаза и уши...

Об Адели Жозя насплетничала Маше на ушко, что у той есть старик, к которому она ездит в Царское Село каждые вторник и субботу. Адель же, даже не на ушко, сообщила про Жозю, что у нее старики имеются чуть ли не на все дни недели, кроме воскресенья, оставленного для молодых. Люция то и дело выходила из роли горничной, обмолвливалась на «ты» с Жозею, с Ольгою, даже с Аделью... Однажды, когда Маша ночевала у Адели, Люция возвратилась откуда то на рассвете вместе с Жозею и еще с какою-то незнакомою Маше, но весьма фамильярною ко всем, девицею. Все три были мертво пьяны, а Люция даже до беспамятства. Жозю и фамильярную девицу Адель быстро спрятала куда-то. Но Люция бродила по всей квартире, ругаясь площадными словами, уселась к роялю и добрые полчаса колотила по клавиатуре кулаками, визжа фабричные песни. Никто – ни Адель, ни Полина Кондратьевна – не посмел к ней подступиться, покуда ее самое не сморило сном. Тогда она без церемонии повалилась на кровать Адели и захрапела. Маша была уверена, что негодяйку немедленно рассчитают, но назавтра Люция, как ни в чем не бывало, снова служила в доме, и только щеки у нее как будто немножко поприпухли да глаза покраснели, заплаканные... Вообще, правда дома начала сквозить из-за временных декораций его очень ярко: Лусьеву считали благоприобретенною уже настолько крепко, что очень далеко прятать карты от нее не стоит...



## XVIII

В один роковой день, тоже после ночевки в доме Рюлиной, Маша, ненароком, из соседней комнаты, подслушала странный деловой разговор между Аделью и утренним визитером, неким господином Криккелем, – пшютом и дельцом, всему Петербургу известным, необходимым в каждом шикарном кружке и клубе, в каждом громком предприятии, в каждой модной забаве. Столица еще не успела разобрать, кто он – капиталист или мошенник. В газетах его величали «финансистом», а люди опытные усматривали в нем вызревающий «прокурорский фрукт». Но он шел в гору, и настоящие финансовые тузы-дельцы смотрели на него, туза-аплике, уже довольно благосклонно. Ему очень хотелось проникнуть интимно в тесный кружок Сморчевского и Фоббея, и он делал для этого множество шагов, заигрываний, усилий.

– Не могу, Отгон Эдуардович, – говорила Адель. – Честное слово, не могу. Вы знаете, я для вас, по старой дружбе, готова на все, что угодно. Но ведь я не хозяйка. А Полина Кондратьевна – кремень: знает только свой *prix fixe*<sup>34</sup>. По полтора на рыло, за Люлюшку три «сотерна». *Entweder – oder*<sup>35</sup>. Если я сделаю вам уступку, мне придется доложить из своих: «генеральша» у нас строгая...

– Дьявольски дорого, Адель.

– Что же делать? На то мы рюлинские. Буластиха или Перхунова устроят дешевле. Подите к ним. А то Юдифь...

– Все это, Адель, я знаю, да что пустяки болтать? Не тот шик...

– А если шик нужен, не скупитесь.

– Да! не скупитесь! У меня миллионов нет.

– Будут.

– Вашими бы устами мед пить. И за что так дорого? Ну за что? Только что посидят за столом в самом избранном обществе, скушают отличный ужин, проведут весело время...

(В 1902 году московский обер-полицеймейстер обратил внимание на странный новый класс женщин, приличных по имени, званию, состоянию, живущих на хороших квартирах одиноко или полуодиноко и почему-то выставляющих на доске подъезда вымышленную фамилию – не ту, что значится в паспорте и домово́й книге. По расследованию причин, вызвавших в свое время приказ, тоже усердно цитированный газетами, оказалось, что ложные имена псевдонимных дам хорошо известны в мирке шикарных сводниц, ходящих и богатых прожигателей жизни. Дамы откровенно признавались, что источником средств к жизни являются для них ужины в веселых мужских компаниях, к которым приглашают их, через разных посредников и посредниц, московские кутилы и, в особенности, наезжие «бразилья́нцы»: дельцы и жуиры из провинции. Это – уже *demimonde*<sup>36</sup>, но нет улик и «состава преступления», чтобы причислить ужинающих дам к проституции. На первом показном плане здесь – веселое времяпровождение, а торговля полом так ловко тушется за флиртом и ухарским житьем, что многие профессиональные *soupeuses*<sup>37</sup> совершенно искренно считают себя женщинами хотя шальными, безумными, порочными, но отнюдь еще не падшими и продажными. В Петербурге класс этот особенно быстро и широко развился в последние годы, когда роскошь мод, прогрессируя с каждою зимою, переделала множество слабых семей в *ménages à trois*<sup>38</sup>, состоящих из

<sup>34</sup> Постоянная, твердая цена (*фр.*).

<sup>35</sup> Или – или; одно из двух (*нем.*).

<sup>36</sup> Полусвет (*фр.*).

<sup>37</sup> Здесь иронич.: любительницы поужинать, содержанки (*фр.*).

<sup>38</sup> Семья втроем (*фр.*).

жены, мужа и богатого содержателя или богатых содержателей, платящих счета за туалеты. В числе известных *soupeuses* много наезжих провинциалок, причем юг оказывается наиусерднейшим поставщиком.)

– А вам бы еще чего? – засмеялась Адель. – Ишь, баловник! А сидеть с вами, кутилами безобразными, разве не труд? Из вашего брата теперь озорники пошли хуже, чем из купцов. Вон – Бажоев, черт старый, третьего дня Жозе на платье бутылку шамбертена опрокинул... Платье триста рублей стоило, а его бросить надо: хуже этих бургонских вин нет, ни за что пятно не отойдет... А получила-то я те же полтора ста...

– Не врете, Адель, – уж, наверное, Бажоев заплатил...

– Да, он-то заплатил, потому что он ужасно какой благородный, а другой не заплатит, и ничего с него не возьмешь. Нас обидеть легко... Мы не хористки, не кокотки, скандала поднять не смеем, должны репутацией дорожить...

Криккель считал:

– Следовательно, вы, Эвелина, Жозя – по полтора ста, да Люлю триста... семьсот пятьдесят... Уф, даже в жар бросает!..

– Может быть, Люську к концу ужина привезти?

Криккель оживился:

– Эту? Горничную-то? Которая русскую пляшет и песни поет? Привезти, непременно привезти! Панамидзе от нее без ума...

– Двести пятьдесят рублей, – сказала Адель.

Криккель инда крикнул.

– Это почему же?

– Для круглости счета. Чтобы уж ровно тысяча.

– Но за что?

– За оригинальность.

– Вы цените эту особу выше себя самой?

– Нашей сестры в Питере много, а Люська – в своем роде, единственный экземпляр.

– Полно, пожалуйста. Кого вы морочите? На Никольском рынке, – вот где прислугу нанимают, этих ваших Люсек – прямо из деревни – сколько угодно.

– Вот и поищите себе Люську на Никольском рынке, – спокойно сказала Адель, – а наша пусть останется при нас.

– Тьфу! Ну только ради Панамидзе... человек-то больно нужный...

– Не скаредничайте, не жалейте, – ласково говорила Адель. – Ведь уж не даром вы затеяли этот ужин. Истратите две-три тысячи, а делишек обделаете на сто. Так не грех за то побаловать и нас, бедненьких...

– Скидки не будет?

– А ни-ни. *Prix fixe*. С какой стати? У нас клиентуры – хоть отбавляй. И то придется обидеть кого-нибудь для вас. Ей-Богу, все вечера расписаны на две недели вперед.

– Министр вы, Адель.

– Да уж министр ли, нет ли, а денежки пожалуйста.

– Но я буду надеяться: все буцет аккуратнo и благородно?

– Так, что благодарить приедете и браслет мне от Фаберже привезете.

– И уж без всяких гримас, обид, жеманств и фокусов?

– Говорю: браслет привезете.

## XIX

Криккель уехал. Проводив его, Адель заметила за дверью растерянную, встревоженную, недоуменную Машу.

– Ага, ты слышала... – хмурясь, сказала она (в последнее время все молодые женщины в рюлинском доме сошлись на «ты»). – Ну что же? Очень жаль... То есть, правду-то говоря, вовсе не жаль, а отлично. Я очень рада, что так вышло наконец... Мне смертельно надоело кривляться. У Полины Кондратьевны свои расчеты играть с тобою в жмурки да прятки. А, по моему, напрасно; давно пора – карты на стол и в открытую.

– За что ты требовала с Криккеля тысячу рублей?

– За то, что мы – ты, я, Жозя, Ольга, Люция, – сделаем ему честь, поужинаем с ним и с его приятелями.

– А больше... ничего?

Адель сухо улыбалась.

– Vous avez un esprit mal tourné<sup>39</sup>. Больше, покуда, ничего.

Она ударила Машу по плечу.

– За больше, Люлюшенька, и сдерем больше.

Но Маша серьезно смотрела ей в глаза.

– Потом – как же это? Нас ужинать зовут – и Люцию с нами? Горничную? Стало быть, мы на одной с ней доске?

Адель с досадою потрянула головою.

– Ах, какой аристократизм напал внезапный!.. Да тебе-то что? Если это их каприз? Ведь ты слышала, какие деньги платят... И притом можешь успокоиться, Люцию зовут совсем не ужинать, а после ужина – проплясать русскую и спеть несколько ее глупых песен...

– Но она не умеет петь. У нее и голоса-то нет, визг какой-то...

Адель согласилась:

– Совершенно верно, что не умеет и визг... Но вот поди же: находятся дураки, которым это нравится, и Люська сейчас положительно в моде.

И прибавила нравоучительно:

– Мужчины ведь удивительно глупый народ. Черт знает что иной раз их прельщает. Ну Люська хоть красивая, – и лицом, и фигурою вышла... А то жила тут у нас, у Полины Кондратьевны гостила, одна киргизская или бурятская, что ли, княжна... Да врала, небось, что княжна, – так азиатка, из опойковых. Ростом – вершок, дура-дурой, по-русски едва бормочет, лицо желтое, как пупавка, глаза враскос... И что же ты думаешь? От поклонников отбоя не было. Первый же тью Сморчевский с ума сходил... «Ах, – кричит, – это из Пьера Лоти!.. „Дайте мне женщину, женщину дику“... Кризантэм!.. Раррагю!»... Много он тогда на нее денег ухлопал...

Маша, не слушая, резко прервала:

– Ты и с Сморчевского так берешь? И с Фоббея? И с Бажоева?

– Конечно. Чем они святее других? Со всех. Маша подумала и всплеснула руками.

– Но, Адель! Мы бываем в разных компаниях так часто... Если ты берешь за это деньги, значит, ты ужас сколько получаешь.

– То есть, не я, – поправила Адель. – Я тут решительно не при чем... Получает Полина Кондратьевна, а я только ее доверенное лицо. Да, старуха зарабатывает очень хорошо.

– А мы?

– Что «мы»?

---

<sup>39</sup> У вас извращенный ум (*фр.*).

– Мы ничего не получаем?

– Как ничего? – засмеялась Адель. – А это что? Она дернула за рукав Машина платья, коснулась браслета на руке, ткнула указательным пальцем на брошь.

– А это?.. это?.. это... А шесть тысяч под вексель?.. Разве мало затрат?.. Вот она их и возвращает, – и согласись, что очень деликатно: ты вот и сама не знала, как ей отработывала...

– Адель, ты поражаешь меня!.. я совсем растерялась в мыслях... Я думала, что Полина Кондратьевна...

– Даром бросит на тебя деньги? – захохотала Адель. – За что же это? Где ты видывала таких благодетельниц рода человеческого?

– Я думала, что она просто – потому, что мне симпатизирует... А тут выходит какой-то промысел...

– Да что ты – малолетняя, что ли? Где и когда бывало, чтобы за симпатию давали тысячные кредиты? Если Полина Кондратьевна рискует на тебя рублями, то, конечно, имеет свой расчет, ищет получить с тебя прибыль...

– Ужасно, ужасно, что ты говоришь, Адель!.. Это – как во сне. Тебя ли я слышу?.. Ты прежде мне говорила не то, совсем не то...

– Мало ли что было прежде? – огрызнулась Адель. – То – прежде, а то – теперь. Да и что тут во всем, что ты слышала, удивительного? И из-за чего ты так кипятишься? Кабы мы заставляли тебя делать что-либо постыдное... А то ведь, сознайся, ни к чему такому мы тебя не приглашали и не принуждали... И не намерены...

– Извини меня, Адель, но все-таки наши ужины, раз они за деньги, это – что-то очень нехорошее... Если бы я знала, что все эти камни и платья приобретаются такою ценою, то лучше бы их не было...

– Ну, милая, – холодно возразила Адель, – об этом было нужно раньше думать и спрашивать, а теперь вон сколько на тебе повешено... Да и что ты в самом деле – все на меня да на Полину Кондратьевну? А сама ты? Разве не брала денег у Сморгевского с Бажоевым? Ведь знаю я...

Маша бормотала, разводя руками:

– Я просто не знаю... Что же это? Я теперь буду стыдиться в глаза смотреть Сморгевскому... и тем другим... Если наше общество можно покупать за деньги, кто же мы для них оказываемся? Что они о нас думают? Какая же разница между нами и кокотками?

Адель зло закусила губу.

– Та разница, – язвительно сказала она, – что, если бы ты была кокотка, тебе не платили бы триста рублей только за то, чтобы ты сидела за ужином в *cabinet particulier*<sup>40</sup> и плела пьяным дуракам демивьержные разговоры. Ты, покуда, порядочная барышня из общества, за это ты и в цене<sup>41</sup>.

– А почему же для себя, для Ольги, для Жози ты выговариваешь только половину.

Лицо Адели исказилось невеселой усмешкою.

– Вероятно, потому, что мы не имели счастья так хорошо сохраниться, как ты.

– Адель!

– «Будто мы кокотки», – передразнила Адель. – Ну и, конечно, кокотки!.. А кто же еще? Это я не знаю, какую дурю надо быть, чтобы не разобрать, что мы кокотки!..

– Ты просто с ума сошла и не знаешь, что говоришь.

– Нет, я-то в своем уме, а вот ты – удивительно наивная... особа.

– Можешь врать, что угодно. Я девушка. Я знаю, что я не кокотка.

Адель насмешливо присела.

---

<sup>40</sup> В отдельном кабинете (*фр.*).

<sup>41</sup> См. примеч. на с. 213 – *les soupeuses*.

– С чем и поздравляю. Честь вам и место.

– Да и на себя, и на них, на Жозю и Ольгу, – я ума не приложу, – зачем ты взводишь такое страшное? Ведь клеветешь!..

– Кой черт, я клевету? – и озлилась, и захохотала Адель. – Нет, Люлюшка! Думала я, что ты глупа, но все же не до такой степени.

И быстрым, резким, циническим языком своим она пустилась разоблачать перед Машею до конца всю подноготную страшного дома...

## XX

Бросилась Маша к Ольге Брусаковой и, к счастью, застала ее дома и одну. Та, с первых же слов, даже с удовольствием и облегченно как-то, подтвердила ей все рассказы и признания Адели.

– Ничего, Машенька, не поделаешь, – говорила она, лежа на кушетке в полутемной своей комнатке и попыхивая папироскою. – Это петля. Тебя так захлестнули, что не вырваться. Ты у них вся в руках: что хотят, то с тобою и сотворят. Вот – попробуй, откажись ехать на ужин к Криккелю...

– Да и не поеду! Неужели ты можешь думать, что поеду... после всего, что теперь знаю? – стиснув зубы, мотая головою, твердила Маша.

Ольга уныло возразила:

– Ну и скрутят тебя в бараний рог.

– Да чем же, наконец? Что они могут мне сделать? Ольга только рукою махнула.

– Всё. Говорю тебе: всё. Вексель твой, ты сказывала, у Полины лежит?

– Я не знаю... У нее или в банке, что ли, каком-то...

– Врет: у нее. Ну и вот тебе и – чем.

– Я несовершеннолетняя, с меня искать нельзя. Я Сморчевского – так обиняками – выпытывала, а он, сама знаешь, какой знаменитый юрист... Он говорит, что не только векселя несовершеннолетних недействительны, но еще, если ты берешь вексель с заведомо несовершеннолетней, то тебя можно судить. Стало быть, по векселю им с меня ничего взять нельзя.

– Да, деньгами нельзя... Но ведь ты забыла: вексель-то твой – не твой, а отцовский.

– Ну?

– Значит, он фальшивый.

– Как ты странно выражаешься... Разве я стала бы писать фальшивые векселя? Неужели я способна? Адель и Жозя уверяли меня, что вексель никогда не будет представлен ко взысканию. Так что – отец написал, я ли, – это все равно... только форма...

– Очень верю, что никогда не будет представлен ко взысканию, но лишь в том случае, если ты будешь слушаться Полину и Адель во всем, что они тебе прикажут. А если ты вздумаешь сопротивляться, вексель увидит свет. И тогда суд не станет разбирать, почему он фальшивый, довольно и того, что фальшивый. А это уголовщина, за это в Сибирь. Ну, засудить-то тебя, по молодости и глупости твоей, пожалуй, не засудят, – но все равно: куда ты после такого дела годишься? Скандал, срам, газеты расславят... Одно средство: может быть, отцу признаешься? Может быть, он заплатит, не доводя дела до огласки?

Маша с ужасом покачала головою:

– Откуда ему взять такие деньги? Да никогда и не признаюсь я ему... что ты!.. Он меня убьет!.. Как я смею? Не одна я у него: два брата... Заплатить – значит нищими стать, в конце, до последней нитки разориться.

Ольга согласно кивала в такт ее словам.

– Я так и понимала. Конечно, разорение и скандал. Иссрамят тебя, а срам на семью падет. Пожалуй, отцу и должности пришлось бы лишиться... А уже о тебе самой, – повторяю тебе, нечего и говорить: если и оправданная выйдешь из суда, дорог тебе, «подсудимой», дальше нет, – ни службы, ни занятий, ни замужества порядочного... Следовательно, один выбор: в кокотки же – больше некуда!.. Ну, и, стало быть, как ты тогда ни вертись, а опять к ним же придешь, – к Полине Кондратьевне с Аделью, либо того хуже – к Буластихе какой-нибудь или Перхунихе... Либо запутает тебя, одинокую и без грошика, какая-нибудь простая факторша, от них же ходебщица... Я, Машенька, знаю: у меня самой с Полиною другие счета, моя кабала по-иному строена, а видать, как они с другими такое мастерили, видала не раз...

Комар носа не подточит, – вот как! Да! Связана ты, голубчик, этим векселем проклятым по рукам и ногам!.. Да и одним ли векселем? Видела я: хвасталась мне Аделька, в каких позах она тебя наснимала!.. Хороша и ты тоже, Марья, – нечего сказать, есть за что тебя хвалить: такую мерзость над собою допустила!..

– Да что же я могла? И как было мне ожидать?

– Ну, милая, – строго возразила Ольга, – какая ни будь ты наивность, а есть же у женщины и природный стыд. Настолько-то соображения должна иметь девушка и сама, без чужой указки, чтобы понимать, что если ее фотографируют, черт знает как, с мужчиною, то добра из этого не выйдет...

Маша широко раскрыла глаза.

– С мужчиною? Я фотографировалась с мужчиною?

– С Мутовкиным. Видела снимки своими глазами.

– С Мутовкиным? Ольга, ты бредишь! Я никогда никакого Мутовкина не знала.

– Ну как не знала? Даже замуж за него собиралась...

– Ремешко?

– Ну да, по паспорту Ремешко. А по-нашему, по-рюлинскому, по-буластовскому и так далее, Мутовкин... Кличка его такая в этом мирке...

– Ты видала мой портрет с ним вместе?

– Да еще какой, – смотреть стыдно!..

– Ольга, я клянусь тебе всем, что свято: я никогда не снималась вместе с Ремешко. Даже и в мыслях не имела подобного!.. Даже и разговора о том между нами не было!..

Ольга воззрилась на подругу с любопытством.

– Тем хуже, – протяжно сказала она. – Значит, вас, голубчиков, Аделька фотографировала, – конечно, по уговору с тем мерзавцем, – когда ты не подозревала... тем опаснее... Эх, Маша, Маша!.. Не ждала я от тебя, что ты так легко скрутишься!.. И как только угораздило тебя унизиться? Ведь прохвост же он, на роже у него написано, что прохвост!..

– Ольга, – кричала Маша, хватаясь за виски, – что ты говоришь? Объяснись! Как унизиться? Что там у них на карточке? Я ничего, – ну слышишь ли ты: ровно ничего из всех твоих слов не понимаю!.. Никогда, – веришь? – никогда между мною и Ремешко не было ничего стыдного и неприличного!

– Ты не врешь?

Глаза Ольги загорелись тревожным любопытством.

– Никогда!.. Никакой близости, интимности!.. Нельзя было, нечего было фотографировать с нас компрометантного!

– Откуда же взялась фотография?

– Я не знаю, но – чем хочешь буду божиться!.. Да и зачем мне теперь врать?... И, наконец, сам он, Ремешко, хотя оказался потом дурным человеком, но я решительно не могу на него жаловаться: он вел себя совсем не таким, – был всегда очень приличный, скромный, почтительный...

Ольга нахмурилась.

– Ну, а на портрете вашем этот скромный и почтительный сидит на кровати, без сюртука, в расстегнутом жилете, а ты – лежишь у него на коленях, в костюме праматери Евы...

Маша остолбенела.

– Это безумие какое-то!.. – сказала она так искренно, что Ольга сразу уверилась в ее правдивости. – Я? я? Ты уверена, что я?

– Как в том, что сейчас тебя вижу.

– Может быть, похожая на меня какая-нибудь?

– Ну вот! Не знаю я тебя? Ты, Маша. Даже родимые пятнышки твои все обозначены, чтобы и сомнения не оставалось.

Маша, усталая от волнения, присела у ног Ольги, почти в суеверном трепете каком-то.

– Я не знаю, что... Это колдовство! – воплем вырвалось у нее. – Они волшебницы... так просто, человеческими средствами, нельзя этого сделать...

– Подделать-то, положим, можно, – возразила Ольга. – Даже очень легко. Обыкновенное средство, которым разные негодяи-лоботрясы дурачат ревнивых мужей: берут неприличную карточку подходящего размера, приклеивают женской фигуре голову с портрета дамы, которую хотят компрометировать, переснимают на новую пластинку, ретушируют, – и готово... Но это уже старая штука, на это, кроме сумасшедших от ревности, теперь никого не поймает. И экспертизы не надо, чтобы разобрать, что фотографировано с натуры, что переснято с рисунка или фотографии... Я бы сразу отличила... И вот то и ужасно, и удивительно выходит, что, как ты ни спорь, а фотографии деланы с тебя, с живой тебя...

– Волшебницы? – шептала Маша. Ольга что-то соображала.

– Нет, не волшебницы, – медленно сказала она наконец, – а это – твой обморок, вот что. Помнишь?

– Да, да... – пролепетала Маша.

Мысли ее прояснились. Она вспомнила и свое долгое беспмятство, и странное общее смущение, когда она очнулась.

– Несомненно! В обмороке сняли. То-то у тебя там глаза полузакрыты... Да! В обмороке! Ловки, нечего сказать!

Ольга в волнении вскочила с кушетки.

– Я думала тогда, что тебя опоили для еще худшего. Оказалось, нет. Они тебя для кого-то берегли и берегут. Потому так долго и комедии с тобою тянули. А беспмятство твое понадобилось именно для того, чтобы нахлопать с тебя компрометантных снимков...

– Но, значит, этот Ремешко... или – как ты его? – Мутовкин... тоже из их компании и заодно с ними?

– Еще бы! А ты как думала? Давний прихвостень. На жалованье и сдельную плату получает. Известный «пробочник».

– Как?

– «Пробочник». Так эти господа у господж Рюлиных называются. Он-де пробку из бутылки вытягивает, а мы вино выпьем...<sup>42</sup> Его обязанность – заманить в долг или опозорить девушку так, чтобы ей потом выхода не осталось, чтобы она вся очутилась в лапах у Полины Кондратьевны. Ты думаешь, я умнее тебя? не считалась когда-то в его невестах? Было, друг!.. Тебя вот ругаю, а сама во дни оны, в такую лужу, по его милости, села, что страшно вспомнить!.. куца хуже твоего! Было, всего было... Это его должность, Мутовкина, по генеральшиней методе разыгрывать богатого влюбленного, чтобы мы, дуры, не боялись ей должать... Ну что же? Мастер! Разыгрывает джентльмена и Креза – лучше невозможно, надо к чести приписать!.. Но как только заберется наша сестра у Полины выше ушей своих да выдаст какой-нибудь красивый документик, вроде твоего, тут конец его роли: он исчезает, яко воск от лица огня... Он нужен, чтобы петлю надеть, а затягивают уже без него. Ему дают сотню, две, три – и отправляют из дома, подальше от скандала... Ты не беспокойся: еще насладишься обществом этого душеньки!.. Не тебя первую, не тебя последнюю «генеральша» ловит... увидитесь!..

– Я плюну ему в глаза, – сказала Маша. Ольга горько засмеялась.

– А он скажет: Божья роса. Увидишь его! Самый подлый зверь.

---

<sup>42</sup> Живарев, 21. Генне-Ам-Рин. Commenge, 338, 347.



## XXI

Маша рыдала.

– Оля, Оля!.. Как же тебе-то не грех и не совестно? Как же ты-то – все знала о них и меня не остерегла?

– Я ли тебя не предупреждала? – грустно отозвалась Брусакова. – Что ты говоришь? Я вся извертелась перед тобою в намеках, а ты, – нет, все не хочешь понимать, всем веришь больше, чем мне. В старуху влюбилась, в Адель влюбилась, в Жозьку-поганку... На меня же за них кошкою фыркала! Разве я виновата, что тебя Бог догадливостью обидел, а черт тебе глаза слепотою застлал?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.